
РАИСА

ОРЛОВА-КОПЕЛЕВА

**ДВЕРИ
ОТКРЫВАЮТСЯ
МЕДЛЕННО**



Харьков
«ПРАВА ЛЮДИНИ»
2015

УДК 821.161.1'06(477)-94

ББК 84(4Укр=Рос)6-442

О-66

Художник-оформитель *Б. Е. Захаров*

Орлова-Копелева Р. Д.

О-66 Двери открываются медленно / Р. Д. Орлова-Копелева; предисл. М. Н. Орловой / ОО «Харьковская правозащитная группа». — Харьков: ООО «Издательство права человека», 2015. — 184 с.

ISBN 978-617-7266-27-2

Книга «Двери открываются медленно» написана женщиной, лишенной советского гражданства. В 1981 году это означало, что она уже никогда не сможет обнять детей и внуков, пойти на могилу родителей, встретиться с друзьями, пройти по родному городу.

Первых немцев, встретившихся ей в жизни, звали Ганс и Гретьель. Из сказок братьев Гримм. Это было в детстве, но тогда Раиса Орлова не знала, что они немцы, как не знала, что Сандрильона — француженка, а сестрица Аленушка и братец Иванушка — русские. Люди делились на плохих и хороших, умных и глупых.

В Германии Раиса Орлова поняла, какие стены предрассудков, пропасти незнания разделяют людей с Востока и Запада.

«Стремлюсь, выбираясь из страха перед чужим, из своих печалей, участвовать в строительстве мостов через пропасти. Хоть бы кирпичик положить в такой мост.

А не построим, — можем погибнуть вместе; и они — богатые и свободные, и мы — бедные и стиснутые несвободой».

Удалось ли автору книги положить в такой мост свой кирпичик — решит читатель.

Эта книга написана 30 лет назад, но, кажется, пропасти незнания стали только глубже, а стены предрассудков — выше.

УДК 821.161.1'06(477)-94

ББК 84(4Укр=Рос)6-442

© Р. Д. Орлова-Копелева,
наследники, 2015

© М. Н. Орлова, предисловие, 2015

© Б. Е. Захаров, художественное
оформление, 2015

ISBN 978-617-7266-27-2

«МЫ ИЩЕМ ПУТИ ДРУГ К ДРУГУ»

Раиса Орлова родилась в Москве в 1918 году в доме полном книг, среди книг прошла вся ее жизнь.

«Мое детство было розовым. Любящие родители, няня, отдельная комната и отсвет красных знамен. Мамина улыбка, обращенная к нам, ее детям, и ко всем людям, входящим в наш дом, сливалась со стихами Пушкина, с романами Диккенса, с детским Богом, с мировой революцией. Так возникало неопределенное, но и важнейшее понятие — добро»¹.

Она закончила ИФЛИ, специальностью ее стала американская литература. Защитила диссертацию, вступила в Союз писателей, опубликовала несколько книг и более двухсот статей, в основном об американской литературе. Работала в ВОКСе², преподавала, и много лет проработала в журнале «Иностранная литература».

Книги были страстью Раисы Орловой, она читала азартно, с наслаждением и радостью от хорошей книги непременно делилась с другими читателями. Она писа-

¹ Р. Орлова. Воспоминания о не прошедшем времени. Слово, М.: 1993.

² Всесоюзное общество культурных связей с заграницей.

ла письма авторам книг: А. Ахматовой и Г. Беллю, В. Распутину и Сэлинжеру.

Раиса Орлова была счастливым человеком, она писала в 1968 году:

«Мне посчастливилось с Россией, родину не выбирают, но я и не хочу иной. Здесь я родилась, здесь я умру.

Я избрала себе дело по сердцу, я люблю свою работу, она мне – радость.

Для человека нашей страны, нашего времени, моего поколения на мою долю выпало не много страданий.

Я оплакала мужа, погибшего на фронте, но сама почти не испытала смертельных опасностей. У меня всегда был кров, я, в общем, не голодала, не сидела в тюрьме и даже не носила передач. Долго я считала все это само собой разумеющимся».

Первый муж Раисы Орловой погиб на фронте, оставив ей двухлетнюю дочь. В 1945 она второй раз вышла замуж и уехала на год с мужем в Румынию, где по заданию ВОКСа создавала общество Румыно-Советской дружбы АРЛЮС. В Бухаресте у Орловой родилась вторая дочь. Второй брак оказался неудачным, в 1955 году семья распалась.

Со Львом Копелевым Раиса Орлова была знакома еще в студенческие годы, но после его возвращения из заключения они встретились, чтобы больше никогда не расставаться. И прожили вместе тридцать три счастливых года. Он был писателем, специалистом по немецкой литературе и театру. Во время войны Лев Копелев зани-

мался «разложением» войск противника, убеждал немецких солдат сдаваться в плен, писал листовки, тексты звуковых передач, работал с военнопленными и перебежчиками. За боевые заслуги он был награжден орденами и медалями, но за месяц до победы арестован за «буржуазный гуманизм и жалость к противнику», а также за «клевету на командование Красной Армии». Почти десять лет он провел в лагерях и тюрьмах.

В 1956 году он был реабилитирован и восстановлен в партии. В годы оттепели Лев Копелев и Раиса Орлова много пишут, публикуют статьи и книги, читают лекции по путевкам Союза писателей, Всероссийского театрального общества и общества «Знание», выступают в университетах разных городов многих советских республик. В квартире Копелевых с конца 1950-х годов побывали едва ли не все иностранные писатели, журналисты, приезжавшие в Москву.

«Шестидесятые годы были временем надежд, сближения, общения. Я жила вовсе не среди инакомыслящих, а среди единомышленников. Мы, сверстники, друзья, приятели, коллеги, кто раньше, кто позже, кто менее, кто более последовательно, но выкарабкивались, вырывались из сталинизма. Ломка была острой и болезненной, но в памяти остались дружественное согласие и подхватывающий отзвук.

Я была неразрывной частью «мы». **Мы** обсуждали роман Дудинцева «Не хлебом единым». **Мы** хоронили Бориса Пастернака. **Нас** потрясла повесть «Один день

Ивана Денисовича». **Мы** просили отдать нам на поруки Синявского и Даниэля...

В это время, когда господствовало «мы» — не державное, но и не государственное, и уж конечно не подпольное, и пробудилось мое «я»...

Эта эпоха тоже кончилась. Ее старение и умирание есть и мое старение, умирание части моей души. Я сохранила этой эпохе не модные нынче благодарность и верность»³.

С середины 1970-х годов Лев Копелев публикует свои работы в немецкой печати. После выхода на Западе его книги «Хранить вечно» начинаются телефонные звонки с угрозами, а затем в квартире Копелевых отключают телефон.

Раисе Орловой также запрещено печататься, а от чтения лекций ее отстранили еще раньше. В январе 1980 года после ареста и высылки в Горький Андрея Сахарова она выходит из КПСС и из Союза писателей. Копелевы не хотели уезжать из Москвы навсегда, в ноябре 1980 года они все же приняли приглашение Генриха Белля приехать на год в Германию для работы в архивах.

Вернуться в Москву Копелевым уже не удалось, через два месяца после отъезда оба они были лишены советского гражданства.

В Германии дом Копелевых быстро стал таким же центром притяжения, каким был их дом в Москве. Посе-

³ Р. Орлова. Воспоминания о не прошедшем времени. Слово, М.: 1993.

лились Копелевы в Кельне, ведь там жил Генрих Белль. Лев Копелев смог осуществить здесь свою давнюю мечту, исследовать историю взаимного узнавания немцев и русских с IX века до наших дней, условия перехода «образа чужого» в «образ врага», благо русско-немецкая история давала богатый материал для такого рода исследований («Вуппертальский проект»). Он снова начал преподавать, читать лекции, много выступал по радио и телевидению.

Раиса Орлова, которая до отъезда не говорила по-немецки, также смогла вписаться в новую жизнь, хотя ей было уже 62 года. Она выучила немецкий язык, из американистики превратилась в славистку, издала написанную еще в Москве книгу «Последний год в жизни Герцена». В 1984 году вышла в переводе на немецкий ее книга «Двери открываются медленно», которая была несколько лет бестселлером, выдержала 6 изданий, в том числе для слепых. Копелевы объездили всю Германию с выступлениями и чтением отрывков из книг, побывали почти во всех странах Европы и несколько раз в США.

И здесь, в Германии, образовался у меня круг немецких читателей. Я сейчас говорю не об авторах многочисленных писем, а о друзьях. Все чаще мне хочется им, так же, как бывало дома, сразу читать, а, значит, сразу переводить то, что только что закончено. Языковой барьер, страхи и сомнения, им вызванные, преодолеть трудно. Есть и другие барьеры.

В отличие от московского круга, с моим нынешним у меня нет общего прошлого. Большинство из них го-

раздо моложе меня. Но есть вера, — хотя и ее приходится каждый раз укреплять заново, — вера в то, что мы можем и хотим понять друг друга. Мир моих новых друзей, их вопросы мне интересны. Их заботы и тревоги, их радости волнуют и меня. Им интересно мое прошлое, моя сегодняшняя судьба, прошлое и настоящее моей родины.

Нет, от меня им нужна не информация (ее они могут получить иным способом), а нечто трудно формулируемое, гораздо более индивидуальное — крупницы личного опыта. И мне от них нужна прежде всего не информация.

Мы ищем пути друг к другу.

Льва Копелева в Германии почитали, обожали, к нему прислушивались потому, что и для Германии он стал своим... Но Копелевых волновало и все, что происходило в России, они оба следили за всеми книжными и журнальными новинками. Лев Копелев создал общество Ориент-Окцидент (Восток-Запад) для издания в Германии книг русских авторов (а также польских, чешских, украинских и др.), активно занимался продвижением лучших книг, написанных в России (но не подлежащих по цензурным соображениям публикации) на немецкий книжный рынок. Средства на издания в основном добывал Лев Копелев, а Раиса Орлова вела переговоры с издателями и переводчиками, выступала по радио и телевидению с рассказами об авторах, читала отрывки из их произведений (переведенные на немецкий язык),

писала предисловия и послесловия. Их общими усилиями изданы книги украинских поэтов (Василь Стус, Евгений Сверстюк, Иван Свитлычный), Василия Гроссмана, Семена Липкина, Лидии Чуковской, Фазиля Искандера, Анатолия Приставкина и еще некоторых чешских, румынских и отечественных авторов.

Издатели и читатели доверяли мнению Льва и Раи. Вот, например, преподаватель истории, латыни и теологии написал Рае, что благодарен ей за книжку («Двери открываются медленно») еще и потому, что узнал много нового о своей стране. Но особенно «за то, что вы обогатили меня, я узнал новых прекрасных поэтов, я читаю теперь Ахматову и составил себе список русских авторов, которых вы назвали». Он и раньше слышал о них, но все как-то проходило мимо, *«а вот вашему голосу поверил...»*.

Раису Орлову очень волновало то, что люди, даже говорящие на одном языке, с трудом понимают друг друга. Однако, бывает и по-другому:

«...польский и немецкий поэт нашли общий язык, переводя стихотворение русского поэта. Возникла ниточка связи.

Казалось бы — как тонки эти нити, и танков вовсе не требуется, чтобы их оборвать. Но они-то снова и снова повторяются, они-то и оказываются прочными, выдерживают давление века. Они, часто и возникающие на воздушных путях, противостоят всемирному безумию».

«Опять, опять и опять – услышать друг друга, ощутить подробности жизни, их различия, попытаться поставить себя на место другого, – какой еще есть путь к пониманию?»

Книги помогали Раисе Орловой переживать тяжелые моменты жизни:

Молодая приятельница спросила меня, какие книги я перечитываю, когда мне особенно худо, какие книги могут лечить душевные раны. – Прежде всего – стихи. Пушкин, Блок, Ахматова. Неизменно – «Война и мир». «Мастер и Маргарита». Паустовский. Фазиль Искандер. Теперь спрашиваю себя – почему?

Тропка к ответу. В мире все нарастают гремящие, скрежещущие звуки конца: грохот, свист, вой. Словно трубы Страшного суда приближаются. А иной раз, сквозь все это, с трудом пробиваются иные звуки. «Надежды маленький оркестрик» (Булат Окуджава). Звуки тихие, робкие. И – не заглушимые... Их постоянно ищу, пытаюсь уловить.

...Бескорыстные узы, связывающие людей разных наций, такие казалось бы, эфемерные, – это, быть может единственное, что противостоит злomu безумию, готовому поглотить мир⁴.

Раиса Орлова тяжело переживала разрыв с родными, детьми, внуками, друзьями. После издания в 1984 году

⁴ Из книги Р. Орловой «Письма из Кельна о книгах из Москвы».

ее первой книги к мешкам писем в адрес Льва Копелева, которые он получал с самого приезда в Германию, прибавились письма в адрес Раисы Орловой. Писали читатели из Германии, писали из разных стран мира. Но не было писем из России. Почта для нас не работала. А Раиса Орлова не могла жить без писем, она писала по несколько писем ежедневно, доставка их — это отдельная история, связи с родными и друзьями разорвать не удалось. С 1980-го года Раиса Орлова шесть раз пыталась приехать в Москву, но каждый раз получала отказ в визе. Она тяжело заболела, перенесла несколько операций, последний раз ей отказали в визе весной 1989 года, за два месяца до смерти. Раиса Орлова все же успела побывать в Москве, но только благодаря влиятельным немецким друзьям. В 1990 году Указом Президента СССР Горбачева ранее отнятое гражданство Льву Копелеву было возвращено, Раисе Орловой — посмертно.

Лев Копелев писал в ноябре 1989 года: «...Новые добрые перемены приносят мне радостные неожиданности, но и дополнительные хлопоты, все время гости из Москвы... Сегодня-завтра сдаем книгу Раи «Почему я живу»... Здесь о ней в течение июня-июля опубликовано несколько больших статей, а некрологи были во всех здешних газетах, даже самых захолустных, во французских, американских, голландских, скандинавских газетах. И *ни в одной* отечественной. Это очень больно. Особенно потому, что знаю, как это больно было бы ей. Я то уже давно стал понимать, что

там — дома — теперь не до нас. Там у всех свои большие грозные и малые, но жестоко досаждающие заботы. Там сражаются ревнители разных партий, разных идеологий, истовые и неистовые спасители России. И наше, Раино и мое беспартийное безидеологическое и ненавязчивое просветительство им представляется наивным, старомодным; для одних недостаточно «русским», для других недостаточно радикальным... А мы по-иному не могли вдвоем, а еще менее могу я один. Основой наших мировоззрений, мировосприятий и всяческой деятельности давно уже стал тот «императив», который очень хорошо высказал Корней Иванович: вырастить два колоса там, где раньше рос один. ...Приветы всем, кто нас еще помнит. Ваш Лев».

Книга «Двери открываются медленно» написана для немецких читателей, от российского читателя автора книги еще отделял Железный занавес. Раиса Орлова мечтала, чтобы ее книги дошли до читателей на родине, дожить до этих дней ей не удалось. Возможно, и современные читатели найдут в этой книге полезный для себя опыт.

Раиса Орлова писала из Кельна в Москву 23 февраля 1985 г. «...Получила чудное письмо из ГДР⁵, всем, что связано с ГДР, горжусь особо. Пишет мать шестерых детей, ей 76 лет, специальность — древние языки. Приехала в гости к сыну, профессору истории, который живет

⁵ Германская демократическая республика.

в ФРГ. «Я тоже живу между двумя мирами. Книгу⁶ вашу получила в подарок от подруги, ей удалось тайком пронести через Стену⁷. Мы сразу в нашем литературном кружке ее прочитали и обсуждали. У многих из нас те же проблемы, ведь и мы живем в государстве, где не уважают права человека... Мы приезжаем в Западную Германию к родственникам и друзьям, мы говорим с ними на одном языке, но часто ощущаем себя в чужом мире. У нас в ГДР в 1984 году большая волна отъездов и много тревог за молодых. Что им советовать? Все мои взрослые внуки — участники пацифистского движения, отказываются от ношения оружия. Таким образом они отрезают себе возможность поступить в университет, даже если у них прекрасные оценки. Военизация нашей молодежи и связанное с этим проклятие Западу — самое дурное у нас. Как обстоит с этим в СССР? Есть ли молодые, которые стремятся к миру без помощи оружия? Что с ними происходит? У меня на полках из русских писателей: Пушкин, Достоевский, Толстой, Тургенев, Лесков, Гоголь, Чехов, Горький, Пастернак, Булгаков, Солженицын, Бабель, Паустовский, Распутин, Тендряков, Айтматов... Наш литературный кружок возник в 1952 году. Читали «Доктора Живаго», «Раковый корпус», «Мастер и Маргарита», «Матренин двор», «Материнское поле» и другие. Я очень хотела после войны вместе с детьми учить русский язык. Но трудный быт, множество обязанностей не

⁶ «Двери открываются медленно».

⁷ Берлинская Стена — государственная граница.

позволили... А молодые учат русский в школе, но читать русскую литературу они не могут».

Она пишет о «Дверях», что эта книга — «...знак надежды для всех думающих людей, людей доброй воли, надежды, что можно противостоять всемирной шовинистической волне и всем вместе искать то, что нас объединяет, связывает. Мы тоже ощущаем свою принадлежность к этому духовному сообществу».

Мария Орлова

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга возникла из надежд и отчаяния. Из непреодолимой потребности поделиться с близкими на родине тем, что я увидела, услышала, испытала, передумала за два с половиной года жизни в чужом мире. Из потребности поделиться с близкими на Западе хоть малой частью того, что я видела, слышала, испытала, передумала за длинную жизнь в Москве.

Двенадцатого ноября 1980 г. мы прилетели в Германию. Тринадцатого я написала первое письмо домой. С тех пор пишу, не переставая. Письма, естественно, личные, каждое из них предназначено только адресату. Но без них не было бы этой книги.

Меня часто спрашивали в Германии, а потом и в других странах: как я воспринимаю этот мир? Что нравится, что не нравится? Что близко, что чуждо? Совпадает ли увиденное с теми представлениями, которые возникли по фильмам, по книгам, по картинам приезжавших к нам иностранцев? Соответствует ли этому реальный Запад?

Из ответов на вопросы возникали некоторые страницы книги. Но и сейчас на большинство вопросов я ответить не могу.

Мы — изгнанники; кто по своей воле, а кто по воле судьбы. В нас причудливо смешаны, несоединимые и неотделимые, тот мир, который мы покинули (или который нас отверг), и мир, который нас принял. Может быть, это особое сочетание, смешение воспоминаний и впечатлений не только затуманивает взгляд? Может быть, подчас и помогает разглядеть то, что было невидимо или едва видимо мне, когда я была связана с одним лишь миром?

Иногда кажется: удалось что-то донести, рассказать, меня услышали. Но чаще, несравнимо чаще — сознание невыразимости, непереводимости опыта. Пропать. И моста через нее не построишь.

Пытаюсь преодолевать отчаяние, пытаюсь перевести хоть маленькую толику опыта для России, хоть малую толику нашего опыта на язык, понятный здесь, людям Запада.

Посвящаю эту книгу родным и друзьям, от которых я неотделима вопреки расстоянию, границам, указам⁸.

Посвящаю ее друзьям на Западе, которые помогли мне начать сначала.

Посвящаю Льву Копелеву — как все и всегда.

⁸ 12 ноября 1980 года Лев Копелев с женой Раисой Орловой вылетели в ФРГ, виза у них была на год для работы в архивах. 12 января 1981 года Указом Верховного Совета СССР оба были лишены гражданства СССР. В августе 1990 года Указом президента СССР Горбачева гражданство Л. Копелеву было восстановлено, Р. Орловой — посмертно.

I

ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ НЕ ТАК

Наружные двери во многих европейских домах заперты, что непривычно. На двери таблица — список жильцов. Ищешь нужную тебе фамилию, нажимаешь кнопку. По внутреннему телефону спрашивают, кто ты. Раздается жужжание, напоминающее звук электробритвы. Если толкнешь — дверь медленно откроется. Если мгновение пропустишь — снова заперто.

Все двери в эту страну — Германию, в этот мир, открываются мне медленно.

Ганс и Гретель, — так звали первых немцев, которые встретились мне в жизни. Но я не знала тогда, что они — немцы, так же, как я не знала, что Сандрильона — французенка, Пиноккио — итальянец, сестрица Аленушка и братец Иванушка — русские. Это было в детстве, это было в сказках. Люди делились на добрых и злых, на умных и глупых, на красивых и уродливых.

Потом мне, студентке филологического факультета, начала открываться Германия книгами Гете и Шиллера, Гейне и Томаса Манна; в них смешивались правда и вымысел, реальность и поэзия.

В реальной Германии тогда царил фашизм, — концлагеря, костры из книг, преследования евреев, призывы к ненависти, к войне.

Вглядываюсь сегодня в лица моих здешних сверстников и безмолвно спрашиваю: что ты делал в те годы? Был в Сопротивлении? В эмиграции? Кричал «Хайль Гитлер»? Или просто жил, не зная, закрывая глаза на торжествующее рядом зло, как я жила в Москве в те годы, словно архипелага ГУЛаг и не существовало?..

Германия напала на Советский Союз. На фронтах сражались, гибли друзья, однокашники, однокурсники. Погиб мой первый муж. Ненависти к немцам, охватившей тогда многих моих соотечественников, я не испытала. Враги были фашистами.

Всю войну мне часто снился один и тот же сон: на белый лист ватмана разливается коричневая тушь.

Моя пятилетняя дочка, увидев военнопленных немцев, работавших на развалинах Крещатика в Киеве, удивленно сказала:

— Мам, они же как люди...

В конце пятидесятих годов, когда по всей стране сбрасывали памятники Сталину, когда люди испытали глубокое разочарование в идеалах, в идолах, необходимый тогда опыт искали в книгах. Русские книги, в которых запечатлен опыт разочарования, сегодня составляют целую библиотеку. Но тогда они либо еще не были написаны, либо хранились в ящиках письменных столов и лишь позже дошли до читателей. И возникла едва ли не массовая тяга к Ремарку, непонятная вне обстоятельств

и времени. Необходимую именно в этот момент духовную пищу нашли у немецкого писателя, которого плохо помнят у него на родине.

После долгих лет отрезанности к нам начали возвращаться старые и появились новые произведения зарубежных писателей. Это происходило с трудом, каждое писательское имя приходилось пробивать, доказывать, — часто не без хитростей и всяких дипломатических уловок, что эти писатели «прогрессивны», а то и близки советской идеологии. Находили хоть несколько фраз, скажем, в защиту мира, — можно зацепиться, значит, важно публиковать. К тому же мы доказывали, что каждая публикация укрепляет престиж СССР.

Мы многократно на этих внутрииздательских совещаниях подчеркивали, что эти писатели — критические реалисты. Критический реализм — общее понятие, объединяющее правдивых писателей.

В годы сталинщины были под запретом даже некоторые произведения иностранных писателей-коммунистов: «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида, «Герои пустынных горизонтов» Джеймса Олдриджа, «Транзит» Анны Зегерс, все драмы Брехта.

Около двадцати лет борьба за публикацию новых и старых иностранных книг и составляла содержание моей жизни. Моя специальность — американская литература. Я предлагала редакциям журналов и издательствам произведения, прочитанные мною по-английски, писала предисловия, рецензировала. Добивалась, чтобы

издали книги Хемингуэя и Фолкнера, Хеллман и Миллера, Сэлинджера и Стейнбека, Апдайка и Болдуина.

Работая в журнале «Иностранная литература», я занималась, конечно, не только американцами, но и писателями других стран: Дорис Лессинг и Гремом Грином, Мориаком, Сент-Экзюпери, Брехтом и Беллем.

Опубликовала шесть книг и больше двухсот статей, преимущественно о литературе США. Страны, в которой не была. Нас и не удивляло то, что, постоянно твердя о связи литературы с действительностью, мы изучали иностранные книги, словно ставили опыты в лаборатории или изучали мореплавание в закрытом бассейне.

Первая не метафорическая дверь, которая настежь распахнулась перед нами в Кельне, была в квартире Генриха Белля на Хюльхратерштрассе, 7. Много лет подряд мы писали сюда и отсюда получали письма.

...После радости, суматохи встречи надо было начинать жить в непривычном странном мире. Жить беспомощной, глухой и немой — немецкий язык я начала учить за две недели до отъезда.

И языковая стена — не единственная. Я не знаю, как войти в трамвай, в метро. Автомат почему-то меня не слушается. У нас в метро — бросишь в автомат пятак и можно ехать по всем линиям. Я не знаю, как купить, как спросить, как понять, что тебе ответят. Нужен поводырь.

В нашем московском доме перебивало множество иностранцев, больше всего — немцев и американцев. Одни лишь мелькнули, с другими связала дружба, за-

крепленная их поездками в Москву, перепиской, телефонными разговорами, пока у нас не выключили телефон.

Но поводырь из местных жителей даже представить себе не может, чего я не знаю. Больше всего мне помогла подруга, которая раньше сама испытала шок адаптации.

Надо привыкать самой. Раковина для мытья посуды. Два крана, на одном я сначала заметила лишь красную полоску, — жду горячей воды. Но нет никакой. Он только для того, чтобы установить, какая вода тебе нужна. Мне это объясняют. Я, кажется, уже поняла, но руки привыкают медленно. Проходит много времени, а я, забывшись, все жду воды из левого крана.

И дома, и в Германии моя рука с незапамятных времен открывала все тот же кран в одну сторону, а закрывала — в другую. А в Америке — наоборот. Хочу уменьшить струю, — в который раз меня заливает. Ну, почему краны открываются не в нашу, не в «правильную» сторону?!

И надо терпеливо пытаться переучиваться, не возмущаясь из-за кранов ни устройством мироздания, ни Европой вкупе с Америкой, ни собственной неумелостью, неприспособленностью...

Мы по утрам едим гречневую кашу. В Германии гречка есть только в магазинах «Реформ». Варю, получается совсем не то. Слышу шутку:

— Здешняя гречка промыта в стиральном порошке...

Гречку нам присылают из Москвы.

...Все продукты надо покупать в супермаркете...

...В магазинах фирмы «Альди» надо покупать все, что сыплется. Сахарный песок, крупы, муку.

...Нет, сюда не ходите: магазин маленький, значит, все дороже.

И сейчас я не могу привыкнуть к тому, что один и тот же предмет — будь то хлебец, чайный сервиз или брюки, стоит по-разному в зависимости от того, где покупаешь, в каком районе, в какое время года. И колебания значительны, иногда — вдвое.

Подчас различие цен ясно. Вот мы идем на пляж. «Не забыть на обратном пути купить к обеду помидоры». Мелькает цена. Возвращаемся через три часа, помидоры стоят вдвое дешевле: продавщица спешит домой, скорее бы все продать.

Распродажа в магазине женской одежды в Кельне. Колеблюсь между двумя летними платьями.

— А вы купите оба.

— Нет, это мне не нужно и дорого.

— Я уступлю полцены.

И этой хозяйке магазина выиграть время, по-видимому, выгоднее, — скорей бы все распродать.

Но ни с чем подобным я никогда не сталкивалась. Некоторых колебаний цен не возьму в толк до сих пор.

Трудно определить и реальную стоимость жизни: соотношение цен совершенно иное, чем в СССР. Раньше я знала только, что квартиры — относительно — очень дороги. Это подтвердилось. Узнаю, что прическа стоит столько же, сколько дешевые джинсы. У нас за джинсы можно причесываться год еженедельно. В СССР еди-

ница любых расчетов — поллитра. За бутылку можно починить туалет, врезать замок, вставить разбитые стекла. А как здесь? Испортилась пишущая машинка. Но оказалось, что дешевле купить новую, чем чинить старую.

Наши советские представления, будто вещи здесь прочные, несколько идеализированы. Проходит больше года, пока я начинаю понимать, что очень прочны только очень дорогие вещи. Остальные так и рассчитаны — на сезон. Потом придет новая мода. У босоножек, как правило, не подбивают набойки, — многие их просто выбрасывают.

Очень высоко — по сравнению с Советским Союзом — оплачивается труд машинистки, уборщицы, уход за больными и детьми.

Поражают с первого дня лотки с овощами и фруктами — в любом городе, в деревушке, в любое время года — свежие помидоры, виноград, яблоки. Перенести бы эти лотки на московские улицы — хоть для детей!

Поражает, что нет никакой разницы между бытом в Кельне и в любом маленьком местечке. Вот в Бад Мюнстерайфеле шесть тысяч жителей, а ресторанов, кафе, отелей, магазинов и уж, конечно, товаров в них больше, чем в ином московском районе, где живут сотни тысяч жителей. (Разве что в больших городах, в больших магазинах все подешевле.)

Читаю в газетах, что молодые врачи не хотят уезжать из больших городов. Тут между нашими странами не различие, а сходство. Но, видимо, здесь действуют иные

причины, уж во всяком случае, с материальным уровнем жизни не связанные.

...Чему мне еще только ни предстоит дивиться? Вывескам IL Banko del Saneto Spirito — Банк Святого Духа — по всей Италии.

Кельнский собор вижу на второй день приезда. Никакие репродукции этого чуда не передают.

С детства я твердила строки Александра Блока:

*Мы помним все — парижских улиц ад
И венецьянские прохлады,
Лимонных роц далекий аромат,
И Кельна дымные громады...*

Прихожу на свидание с этой громадой — собором. Он меняется. То серый. То коричневый. То зеленый. Дымный. В туманные дни он двоится, — на небе чудится второй собор.

У Гейне в «Зимней сказке» собор — «дьявольски черный». Гейне спокойно предлагал устроить в соборе конюшни. Много раз читая «Зимнюю сказку», я не обращала на эти строки внимания. Сейчас кощунство ранит.

Музей римских древностей. Вблизи от собора раскопаны целые римские улицы. Спускаемся. Видим и римский суд. В этой римской колонии в первые века нашей эры были заложены основы правового государства. Какими-то неведомыми путями это накладывает отпечаток на души и современников, и даже отдаленных потомков. Почти два века тому назад срыли Бастилию, и к столбу на площади прибили табличку: «Здесь танцу-

ют». И танцевали. Думаю, что это не прошло бесследно для французов.

История Франции, Германии давняя; она воплощена и в тех священных камнях Европы, о которых говорил Иван Карамазов.

Александр Герцен писал в 1847 г.:

«Рейн-то Рейн, и Dom, и весь город. Здесь действительность победила ожидания. Я просто влюблен в Кельн (Colonia Agrippina Sancta), Кельн, как Москва в России, heilige Stadt...».

История в быту.

Вывеска над магазином фарфора, мимо которого прохожу часто: «Мануфактура Фюрстенберга, основана в 1745 году». Вначале меня это поражало: восемнадцатый век, а написано просто на посудном магазине. А сейчас, к сожалению, эту вывеску я даже не всегда замечаю.

У собора туристы, разноязычная речь, щелкают фотоаппараты. И тут же проходят демонстрации. «Протестуем против преследований верующих в Румынии!» Около сотни участников. Раздают листовки. Скучающий полицейский наблюдает. Большая толпа оглаживает демонстрацию. Вижу часть плаката «...осужден на десять лет лагерей».

Другая демонстрация, гораздо многочисленнее. На плакате: «Протестуем против американского и советского империализма». Немецкая приятельница поясняет:

— Резко повысились цены на общественный транспорт, вот они и протестуют...

Связи между империализмами и ценами на транспорт я так и не уразумела.

Демонстрация — понятие, изменившее смысл за годы моей жизни. В последнее время оно означало: два-три десятка смельчаков в День Прав Человека на Пушкинской площади в Москве пять минут молчат, сняв шапки, — протест против того, что инакомыслящих заключают в тюрьмы. Участников заталкивают в милицейские «воронки».

Тут вначале я видела по телевизору, как некоторых участников демонстрации в Брокдорфе заталкивали в полицейские машины. Эти люди выступали против строительства атомной станции.

Протестовать против правительственного решения, связанного с военной промышленностью, — мало кто у нас на это решится. Между тем атомные станции строят вплотную у городов.

Стоп!

Неизвестное можно, наверное, понять только через известное. Сравнением. Сопоставлением. Ищу меру.

Можно сравнивать вещи конкретные, реальную зарплату. Сколько раз мы в Москве слышали по «Немецкой волне»: рабочий в СССР, чтобы купить костюм (велосипед, приемник, ковер), должен проработать у станка столько-то, рабочий в Федеральной республике Германии — столько-то. Рабочие в ФРГ живут несравненно лучше, это очевидно.

Думаю, что, прочитав или услышав о демонстрации в Брокдорфе, на многих московских кухнях, где чаще

всего и решаются все мировые проблемы, качают головами, а то и обличают: «...с жиру бесятся... нам бы ваши заботы...»

Еще в Москве после подобных споров я спрашивала себя: почему я должна считать, что горше моего, нашего горя и нет на свете? Да и в непредставимых обычному рассудку астрономических числах — 30 миллионов — 60 миллионов погибших, — так легко теряется одна гибель, горе одного, близкого ли, дальнего...

Нет, я не желаю жителям Западной Европы наших забот. Я радуюсь тому, что на этой земле такое изобилие, такой непредставимо для наших легких быт; радуюсь и тому, что люди могут позволить себе выйти на демонстрацию (независимо от того, по душе ли мне лозунги данной демонстрации) — это не грозит крушением всей жизни для тебя и для твоей семьи. А горя и здесь, в Германии, было предостаточно.

Мы в Москве часто жаловались, — и я еще пожалуюсь, — на то, как мало о нас, о нашей жизни знают за границей. Но кто из множества друзей, собиравшихся у нас дома, знает, что в конце войны четырнадцать миллионов немцев были выселены из родных мест, из них два миллиона погибли? Я об этом услышала только здесь.

Да, войну начал Гитлер. Но эти выселенные, беженцы: женщины, дети, старики, — они столь же виновны или столь же невинны в жестокостях гитлеровщины, сколь пострадавшие советские люди в жестокостях сталинщины...

...Читать «Шум и ярость» Фолкнера — это почти как мчаться в автомобиле на большой скорости, обернув голову назад, — эти слова Сартра я запомнила давно. Сейчас обнаружила, что именно так я ощущаю себя на Западе. Голова повернута назад, в мою Москву, к моим близким, к той жизни, что там прожита, к той, что сейчас там проживается.

Но заставляю себя и смотреть по сторонам. Мимо летят страны: Австрия, Швейцария, Италия, Франция, Америка. Вчерашние впечатления, подчас ошеломляющие, приносящие радость, исчезают едва ли не мгновенно, вытесняемые сегодняшними, а другие оседают, задерживаются, тревожат, возвращаются вопросами.

В Германии живу.

Хрестоматийные клише: немцы пунктуальны — подтвердились. Сговорившись, люди здесь приходят, как правило, в точно назначенный срок; и это удобно — как отсутствие очередей, как бытовые машины, как множество еще неведомых мне кнопок. Все это экономит силы и время.

Поразила меня не просто пунктуальность, — строжайшая запрограммированность быта.

Большинство людей завтракает, обедает, ужинает, смотрит телевизор, отдыхает в один и тот же час. Почти все магазины открываются и закрываются одновременно, — короткое, с привкусом безнадежности слово «цу». По воскресеньям не купишь ничего, разве что на вокзале, где гораздо дороже.

Захотела причесаться вечером — в огромном Кельне, даже в крупных отелях, не оказалось ни одной открытой парикмахерской. А мои соотечественники только и могут пойти в парикмахерскую вечером, после работы.

Когда в московский дом приходят гости, их кормят в любое время тем, что есть у хозяйки.

Здесь, если тебя зовут к двенадцати, — это «еда в середине дня», наш обед; к 3-м часам — напитки (без закуски); 4–5 часов — кофе с печеньем; к 8-ми — ужин, часто мясной.

Много лет назад мы были в ГДР, где нас пригласили приятели к 4-м. Не зная об этом неукоснительном расписании, мы пришли страшно голодные после бесконечного хождения по городу. На столе — батарея бутылок и два блюдечка — с орехами и с печеньем. Мы едва дождалась конца разговора, побежали в ближайшую закусочную. Более вкусных сосисок я не ела с тех пор.

Жесткость распорядка неизбежно сковывает. Но вот я же не задумываюсь специально по утрам о том, что надо чистить зубы и принимать душ; привычка, почти автоматизм таких действий естественны, и это освобождает от лишних забот.

Как с этими немецкими строгими расписаниями, быть может, и они освобождают время, ум и душу для чего-то высокого? Но если так, — почему против них бунтует молодежь?

Нет, я не верю, что эти юноши и девушки «бесятся с жиру». Некоторых уже знаю: это люди, живущие напряженной духовной жизнью. Им тесно, душно в их свобод-

ном мире, им претит благоустроенный, полированный порядок.

А от того, что в других частях света нет свободы в неизмеримо большей степени, — им не легче.

«Я не могу быть счастлива только потому, что у меня нет рака и никто из моих близких не арестован», — это сказала москвичка. Это могли бы повторить многие люди на Западе.

Только не надо торопиться с выводами...

В декабре жители Кельна, как и по всей Германии, готовятся к Рождеству. Не только в церквях, — и в домах, под елками, на улицах, — кукольная сцена Рождества — «криппе», — Мария с младенцем, ясли, волхвы, из глины, из дерева, из камня, из патоки, из теста, из фарфора.

Слышу:

— Если третья мировая война начнется в сочельник, то в Германии об этом узнают после Рождества.

Рождественские дни. По радио, по телевидению, со страниц газет и журналов прежде всего с церковных кафедр вновь и вновь звучит: две тысячи лет тому назад в Римской империи людей преследовали, заточали в тюрьмы, убивали. И родился Сын человеческий.

Он не призывал к восстанию, он не призывал к насилию. Он проповедовал любовь и братство. Тем и стал особенно опасен. Он пожертвовал жизнью ради страдающих людей. Его подвергли мучительной казни распятием. Это было почти две тысячи лет тому назад. И вчера. И сегодня. В нашем, как нам кажется, жесточайшем из всех веков.

В сороковые годы индийский мыслитель отказался от всех земных благ, возглавил ненасильственное сопротивление английским угнетателям. За это его убили. Его звали Махатма Ганди.

В шестидесятые годы священник на юге Америки требовал гражданских прав для всех черных американцев. Равенства он хотел добиться без насилия. За это его убили. Его звали Мартин Лютер Кинг.

В восьмидесятые годы рабочий Гданьской верфи стал вождем ненасильственной «Солидарности». Его интернировали на год. Что ждет Леха Валенсу завтра?

Андрей Сахаров отказался от номенклатурных благ, стал защитником арестованных. За это его больше трех лет держат в ссылке, всячески преследуют.

Я вспоминаю о героях-мучениках, вчерашних и сегодняшних, погибших и живых. Они — избранные, их немного, их всегда немного.

Рождество же — для всех. Семейный праздник. В маленькой баварской деревне смотрю после службы и «Криппеншпиль».

В сельской церкви нагляден жизненный круговорот: в этой купели крестили девочку, которая изображает ангела. Крестили ее мать. Ее бабушку. А возле церкви кладбище, где лежат предки; им ставят после службы свечки на могилы.

Звон колоколов этой церкви сопровождает человека от рождения до смерти.

Рождество — дни семейных встреч. Собираются за столами, под елкой лежат подарки, поют старые песни.

Спрашиваю себя: а, если бы в эту деревню или в большой Кельн пришел нищий плотник с беременной женой, попросил бы убежища, какие двери открылись бы перед ним?

Читаю на стенах плакат: «Тебе нужен Бог, чтобы быть добрым». Помогает ли вера стать человечнее? Вспоминаю моих друзей в России. Сколько раз открывали они двери тем, кого преследуют, тем, у кого нет крыши. Среди них есть верующие, церковные, есть и атеисты. Вероятно, столько же верующих, сколько и неверующих.

...Стою в церкви, радуюсь за окружающих; у них есть опора, помогающая переносить и бедствия земные, и ужас исчезновения. Завидую им временами.

И не отвываясь, смотрю на пламя угасающей свечи.

* * *

Я не встретила здесь ни одного человека, который не выезжал бы за пределы Германии. Касса на главном вокзале Кельна. Можно взять билеты в Париж, Цюрих, Вену. Можно поехать на машине. Можно сперва поездом, а потом, в другой стране, машиной. Есть целые поезда, к которым цепляют платформы и везут машины пассажиров. Поездки ограничены деньгами. Это важное, но для многих преодолимое ограничение. Молодые люди странствуют, «голосуя».

В первое наше заграничное путешествие из Германии в Австрию мы, отдав вечером проводнику паспорта,

просто проспали границу. Процедура досмотра (кроме Америки) на всех границах Западной Европы почти формальная.

«В октябре я был на симпозиуме в Техасе, на рождественских каникулах мы с женой и детьми катались на лыжах в Альпах», — рассказывает профессор небольшого университета. Роняет мимоходом, — это быт.

Ни с кем из моих московских знакомых такого не могло бы произойти, даже из привилегированных, которых называют «выездными». Это жаргонное слово обозначает тех, кому разрешено ездить за границу. В капиталистические страны лишь раз в два года по туристским путевкам за свои деньги. Да и в социалистическую страну не так легко поехать, необходима характеристика с места работы, свидетельство о благонадежности.

Здесь люди много путешествуют. Впрочем, путешествие — понятие устарелое. Где сейчас путники? Люди летают, мчатся по автострадам. Наши американские друзья и знакомые ахали, узнав, что мы едем поездом из Нью-Йорка до Сан-Франциско, и обратно из Лос-Анжелеса в Нью-Йорк. В окно вагона хоть что-то от страны увидишь. А облака сверху везде одинаковы. Еще бы лучше в карете, да жаль — невозможно.

Быть может, демократия начинается не с выборов в парламент, в Бундестаг, в Конгресс, а с того, что ты можешь (и должен) сам выбрать магазин, где покупать, университет, где хочешь учиться, наконец, и город, где жить. То самое право, которое подтверждено Хельсинк-

скими соглашениями. Не получается почему-либо в Германии, — живи в Дании; живи там, где найдешь работу, где тебе нравится. Уж властям-то нет никакого дела до того, где ты живешь, если ты не нарушаешь законы.

Отъезд из СССР без права возврата становится обвалом и для уезжающих, и для их остающихся близких.

Уехать самовольно из Советского Союза невозможно, и этого простого факта на Западе многие почему-то не знают, вернее, не сознают. Так и не могу понять, почему этого не знают и некоторые западные немцы, перед глазами которых — берлинская стена. Человек же, оставшийся на Западе (а таких становится все больше), в странах Восточного блока считается преступником.

Анна Ахматова как-то сказала: «У нас украли мир». Здесь я острее ощутила истинность этих слов.

Разнообразна и по-разному богата жизнь в Германии. Упорядоченная. Но один раз в год здесь в прирейнских областях все это нарушается, выплескивается на несколько февральских дней карнавалом.

Едва ли не каждое впечатление вызывает воспоминания. Эта дверь в мое прошлое не закроется никогда.

Русский ученый Михаил Бахтин (1885–1975) открыл значение карнавальных истоков культуры, не иссякающих с древности, особенно явственных в эпоху Возрождения, плодотворных и доньше. Это открытие помогает филологам, философам едва ли не всех стран мира. А занимался Бахтин наукой в ссылке, в маленьком городке Саранске.

Он объяснил, что означали для строжайше регламентированной жизни средневековых городов те дни, когда «верх» и «низ» менялись местами, шут становился королем, король — шутом, когда словно исчезали сословные перегородки, царило неофициальное, свободное, неформальное общение.

Смотрю на кельнское карнавальное шествие. Не только участники, но и зрители сами хотят быть смешными. И стар и мал в колпаках, в диковинных одеждах, лица раскрашены, много белил, как у клоунов в цирке. Чаще всего встречаются костюмы из пестрых лоскутков. Много париков. На щеках, даже у полицейских, — пунцовые сердечки, следы от поцелуев. Шум невероятный, песни, на каждом углу хоть небольшой оркестр, звенят бубенчики. Участники карнавала смеются надо всем на свете, и над своими властями тоже. Выбирают Принца и Деву. Здесь Дева — обязательно мужчина. В эти дни хозяева города — ряженные. Со всех повозок сыплются конфеты, букетики цветов. Люди поют, разговаривают громче обычного.

Смотрю на все это и думаю о судьбе Бахтина. Его арестовали. Он едва не попал в самый северный лагерь — страшные Соловки, где со своей давней болезнью (остеомиелит) неминуемо погиб бы. Заменяли ссылкой в Казахстан. В годы большого террора он выжил — тоже из чудес. После войны диссертация о Рабле, представленная как кандидатская, виднейшими учеными была признана достойной докторской степени, но, после долгих проволочек, отклонена. Ругань в газетах — неопуб-

ликованная книга была объявлена «идеологически порочной».

«В обстоятельствах, господствующих в годы культа личности, его новаторские глубинные идеи не могли увидеть свет», — писал позже академик Виктор Виноградов.

Возрождение Бахтина началось, к счастью, при его жизни, с шестидесятых годов. Переиздание книги «Проблемы творчества Достоевского» (после письма ученых и писателей в «Литературной газете») и в 1965 г., четверть века спустя, издание той самой «идейно-порочной»: «Франсуа Рабле и народная культура средних веков и Возрождения». А затем, до сего дня, все новые издания работ Бахтина, написанных в разные годы...⁹

Он был мудр, и, как ни фантастично это, в мире с собой. Вот карнавалов ни в Кельне, ни в Швейцарии, ни в Италии ему видеть не пришлось.

А кто из этой пестрой текучей толпы, кто из них знал о Бахтине? Наверное, многие ученые Германии

⁹ Книги Бахтина теперь переведены на многие языки. В Японии издано собрание сочинений в пяти томах. В Йельском университете в 1982-м учебном году — специальный семинар: «Бахтин и испанская культура».

Смешно говорить, что с Бахтиным нельзя спорить. Он потому и великий ученый, что на спор вызывает, дискуссии провоцирует своим диалогизмом. Ведь и читатель должен присоединиться к одному из голосов. Дискуссия неотъемлема от движения истинной науки. Но не на таком уровне, как один из его соотечественников в эмигрантском журнале: «Концепция Бахтина — это бесовская апология Достоевского... покорно исчезающего в концлагерных топках материалистической мысли».

знают, ибо в 1969 г. часть книги о Рабле под названием «Литература и карнавал» издана по-немецки, а в 1979 г. издан сборник «Эстетика слова» с биографическим очерком и интересным предисловием Райнера Грюбеля. Однако нам пришлось встретить немало людей из мира академического, гуманитарного, которые о Бахтине никогда не слышали.

Пример «невстречи» России и Запада. Может ли встреча состояться, как перекинуть мосты через пропасти?

Здесь я побывала во многих квартирах, преимущественно у литераторов, журналистов, преподавателей; книжные полки с пола до потолка, книги не только в кабинетах.

Смотрю, какие русские книги в немецких переводах стоят на этих полках, если хозяйева дома — не слависты, не вернувшиеся из Москвы корреспонденты. Собрание сочинений Достоевского. Разрозненные тома Толстого. Две-три книги Солженицына (не всегда прочитанные). А между тем в 1980 г. в ФРГ издано 65 советских книг. Айтматов, Битов, Войнович, Тендряков, Трифонов, Тропольский, Распутин, Рыбаков, Платонов...

Кто читает эти книги?

Спрашиваю едва ли не каждого, с кем сталкиваюсь:
— Что вы читали из русских книг?

В ответ слышу:

— Достоевский... Толстой... Солженицын...

Спрашиваю в Германии у друзей, знакомых и вовсе незнакомых, что они знают о нашей литературе, куда де-

ваются переведенные книги советских писателей. Поначалу у меня создалось впечатление, которым я и поделилась, что представление о нашей литературе здесь ограничено лишь несколькими именами.

Читательские письма поправляют меня:

— Из Гамбурга: читаю В. Распутина «Живи и помни».

— Из Кобурга: к классикам надо добавить Горького и Пастернака.

— Из Брауншвейга: Читатель цитирует строки Пушкина.

— Из Ульцена: Учитель географии прислал список русских книг из своей личной библиотеки. Список занимает три страницы. Ему близки стихи Ахматовой, он (по-русски) цитирует «Реквием».

Музыкантшта из Висбаден-Рамбаха послала английский перевод романа Александра Солженицына «В круге первом» своему коллеге, индонезийскому музыканту, который провел десять лет в тюрьме...

Сталинская Россия была искусственно отгорожена от мировой культуры глухими стенами. Казалось, то окно, который еще Петр Первый прорубил в Европу, забито.

В пору оттепели, после смерти Сталина, окна и двери начали открываться. Этот процесс продолжается по сей день. Медленно, с большими трудами, но белые пятна на литературных картах России заполняются.

С опозданием, подчас от двадцати до сорока лет, пришли к русскому читателю книги Альбера Камю, Германа Гессе, Уильяма Фолкнера, Эзры Паунда. Старый бест-

селлер: книга Маргарет Митчел «Унесенные ветром», оригинал — 1936 г., советское издание — 1982 г. Едва ли не рекорд.

В России, как и во всем мире, читают книги немецких авторов. В течение нескольких лет изданы «Новые стихотворения Рильке» — последняя работа замечательного поэта-переводчика Константина Богатырева; сборник пьес Петера Хандке; «Музей родины» Зигфрида Ленца; проза Ингеборг Бахман; избранные произведения Хаймито Додерера; «Человек в эпоху Голоцена» Макса Фриша, — романы, драмы, стихи...

Люди, существование которых столь различно, тем не менее, находят в книгах общезначимый опыт: любовь, рождение ребенка, разлука, разочарование, война, тюрьма, творчество, смерть.

И это внушает надежду: значит, можно попытаться понять друг друга. Ведь уже сейчас есть ученые, разрабатывающие системы знаков, которые могли бы служить для общения с внеземными цивилизациями. А на земле все это еще очень трудно: договориться о толковании одного и того же слова даже и на одном языке. Еще труднее сравнивать, сочетать разные формы исторического опыта.

...Рассказываем об удивительных, избирательно-ненасытных советских читателях. Нам возражает бывшая соотечественница, недавняя эмигрантка.

— О ком вы говорите? Кто в России читает? Женщинам приходится часами стоять в очередях; значит,

больше половины населения не может читать. Ну, вы-то жили в Москве, в вашем кругу читали. А никто здесь, наверное, и не слышал о маленьком городке на Волге, который называется Кимры. Там прежде делали хорошие сапоги. Ну, кто в Кимрах читает книги?

Мы не успели ответить, как из задних рядов поднялся молодой человек.

— Я из Кимр. Там нет крупных филологов, нет научных институтов, живут шоферы грузовиков. Среди них — моих товарищей — поразительные читатели. Они и приучили меня читать книги.

Мы оглушены неожиданностью и нападения, и защиты. Случайность, как бы придуманная беллетристом. А я вспоминаю моих дорогих подруг, старых и молодых. Да, они замордованы непосильно тяжким бытом, но все они жили и постоянно живут с книгами, читают в метро, в электричке, перед сном в постели.

Настоящее Зазеркалье, — как в книге Льюиса Кэрола «Алиса в стране чудес»! В СССР запрещено, опасно читать самиздатские рукописи, книги, изданные на Западе. Но (отчасти и потому, что запрещено) читают. На Западе доступно, и далеко не всегда читают. Отчасти и потому, что доступно. Винить некого, да и не надо, — человеческая натура. Не огорчаться — не могу.

Те самые книги, которых так страстно ждут в Москве, здесь лежат какими-то сиротливо-оскорбительными кучками, их не покупают. Издавать убыточно.

А «витамины» для сердца и души нужны не меньше, чем для тела.

В первый же месяц после приезда в Германию я стала участницей спора. Осведомленный, талантливый журналист напористо утверждал:

— У вас нет и не может быть никакой культуры, ибо тоталитаризм враждебен культуре, давил и будет давить все живое, выделяющееся, особое...

Я лучше, чем мой собеседник, знаю, как именно это происходит, этот осточертевший механизм разрушения талантов, губительные результаты давления.

Но знаю я и другое. Мы приехали из страны великой культуры, и не мертвой, а живой. Вижу лица ее творцов, известных и вовсе безвестных: писателей, режиссеров, художников, учителей, библиотекарей. Слышу их голоса, бывала в их рабочих кабинетах, в их художественных мастерских, присутствовала на их чтениях. Помню их сомнения, замыслы, свершения. Нередко и отчаяние. Этот удивительный мир не только в самиздатских, но и в опубликованных книгах, выпущенных фильмах, спектаклях известен мало. В том, что он действительно существует, надо убеждать.

Нас разделяют стены предрассудков, пропасти незнания.

Стремлюсь, выбираясь из страха перед чужим, из своих печалей, участвовать в строительстве мостов через пропасти. Хоть бы кирпичик положить в такой мост.

А не построим, — можем погибнуть вместе; и они — богатые и свободные, и мы — бедные и стиснутые не-свободой.

Спор долго меня не покидает, ищу новые и новые доводы.

Еще тогда, возражая, я рассказала моему оппоненту о домашних кружках, о неофициальных семинарах, о целой кровеносной системе культуры.

Он, яростно:

— Кружки по 20–40 человек в стране, где живет двести пятьдесят миллионов, где только и говорят, что о масштовости культуры! Какое значение они могут иметь?!

Попытаюсь описать, что это за кружки.

Московский вечер. Собрались друзья, знакомые. Но садятся не за накрытый стол, а на тахту, в кресла. Они пришли, чтобы слушать лекцию. Домашний семинар. Первая пятница каждого месяца, день постоянный. Участники привыкли этот день не занимать ничем иным.

Множество тем: сегодняшний Китай и древняя Россия, национальные движения в США и чередование стилей в архитектуре, — своеобразная «синусоида»; новые данные археологических раскопок и обработка неизвестных прежде литературно-исторических архивов.

В отличие от широты этого семинара есть и «моно-темные»: музыка Скрябина, поэзия Тютчева, философия Бердяева. Есть постоянные теологические семинары — православные, буддистские, магометанские, иудаистические...

Темы определяются интересами вот этой небольшой группы, объединенной дружескими и родственными связями. Подчас темы диктуются сугубо профессиональными нуждами, а подчас это «хобби», но в том весьма серьезном смысле слова, когда хобби не подменяет жизненного содержания, а обогащает его.

После доклада наскоро готовят бутерброды, откупаживают бутылку, заваривают крепкий чай. И продолжают говорить, спрашивать, спорить, думать вслух.

Александр Герцен писал о своем друге Огареве:

«По-моему, служить связью, центром целого круга людей — огромное дело, в особенности в обществе разобщенном и скованном...».

Кружок — это очерченность, замкнутость. Кружок еще и родник, источник мыслей, знаний, творчества. Не каждому роднику дано стать Волгой. Но нет реки без родника. Так и в духовной жизни.

Один лишь выпуск Царскосельского лицея в 1817 г. дал гения Пушкина и плеяду поэтов, ученых, государственных деятелей. На первом заседании Пражского лингвистического кружка, который породил и нескольких великих ученых (Трубецкой, Чижевский, Якобсон) и несколько новых наук, — не только в области лингвистики, но и философии, и психологии — присутствовало шесть человек.

Существуют повсеместно сотни тысяч объединений, не воспитавших гениев. Однако, каждое из таких малых сообществ было средоточием света для десятков, источником — для сотен. В них проходили школу и мастера

культуры, и подмастерья, и те, кто культуру хранит, собирает, бережет, передает от одного к другому, то есть те люди, без которых невозможно само существование культуры.

В архиве Теодора Адорно обнаружено письмо замечательной пианистки Марии Юдиной (от 12.01.1961). Она просит срочно прислать книгу о Малере (1960):

«Малера многие в советской России знают и любят, я – в их числе. Но с юности я привыкла находить для своей любви философские основания, поэтому – может ли быть желание, более мудрое и прекрасное, чем получить Вашу книгу, господин доктор Адорно?.. Для меня это будет счастьем, и ваша книга обретет духовную жизнь не только у меня, в моем сердце, в моей голове, но и у многих других.

Я же вместе с этим письмом посылаю Вам книгу о древнерусской иконе «Андрей Рублев». Осенью я послала такую книгу Игорю Стравинскому в Рим, и он ей очень радовался...».¹⁰

Книга обретет новую почву, обогатит многих, — это есть неотъемлемая черта кружка интеллигентов России.

Как это знакомо, сколько раз мы и наши друзья писали подобные письма, получали книги, а потом наделяли ими многих, впитывали чужой опыт, «присваивая» его, делая своим.

¹⁰ Впервые опубликовано 24.12.1982 по-немецки в Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Некоторые кружки поразительно долговечны: в июне 1981 г. один отмечал двухсотое занятие. Он существует около двадцати лет.

Как только становилось хоть чуть легче, — так было в годы оттепели, — кружки выходили из квартир в клубы, в университеты.

В конце пятидесятых — в начале шестидесятых потребность в новых свободных формах общественной жизни была столь сильна, что повод мог быть любой: впервые открытая в 1956 г. выставка Пикассо, исполнение первых песен Булата Окуджавы, выпускной спектакль вахтанговского театрального училища: первая постановка пьесы Брехта «Добрый человек из Сезуана», начало столь известного ныне театра на Таганке.

Создавались новые, самостийно возникающие театры, такие как «Современник», по-новому устроенные школы, как Вторая физико-математическая школа в Москве, центры новых (для России новых) наук, как социологическая лаборатория в Тарту, и там же, в университете, возникшая школа семиотики.

И более крупные научные объединения, как Академгородки в Новосибирске, в Дубне, в Пущино, в Черноголовке.

В книге о Диккенсе Честертон писал:

«Надо признать, что оптимист — лучший реформатор, чем пессимист. Тот, кто видит вещи в розовом свете, вносит в жизнь движение вместо застоя. Это звучит как парадокс, но объясняется крайне просто. У пессимиста

зло вызывает чувство возмущения, у оптимиста же оно вызывает только изумление. Чтобы быть реформатором, необходимо обладать способностью легко изумляться, изумляться бурно и непосредственно. Реформатору недостаточно признать какой-нибудь факт несправедливым и возмутительным; надо, чтобы он, кроме того, считал его еще нелепым ОТСТУПЛЕНИЕМ ОТ НОРМЫ...».

При всех индивидуальных различиях создатели и участники таких сообществ и, особенно, учреждений были именно оптимистами-реформаторами. Они поверили: началось обновление страны. Теперь каждый мог и, значит, должен был приступить к реформам в своей области. Прошлое — все то, что называлось сталинщиной, — воспринималось многими как уродливое, противоестественное, но временное отступление от нормы. Надо было норму восстановить, то есть создать НОРМАЛЬНЫЕ театры, НОРМАЛЬНЫЕ школы, НОРМАЛЬНУЮ литературно-издательскую жизнь.

Иллюзия? Да, оказалось впоследствии, по сравнительно долгосрочному опыту — иллюзия. Но и реальность. Спектакли «Современника» посмотрели десятки тысяч человек. Вторая школа дала десять выпусков. Во многих библиотеках лежит сборник «Тарусские страницы»¹¹.

¹¹ Таруса — маленький город на берегу Оки, издавна привлекавший поэтов и художников. Его называют русским Барбизоном, сравнивают с Ворпсведе. Сборник «Тарусские страницы» (1961) задуман и сделан в доме Константина Паустовского, которого считали совес-

Этот период кончился танками в Праге. С конца шестидесятых годов кружки вновь стали съезживаться до размеров комнаты; они возвращались туда, откуда вышли. Хотя иные попытки тоже не прекращались: в конце семидесятых годов альманах «Метрополь», самиздатские сборники «Память», журнал «Поиски», клуб рассказчиков «Каталог».

Великий русский ученый, философ и естествоиспытатель Владимир Вернадский создал понятие «ноосфера» (которое впоследствии развил Тейяр де Шарден), — духовная оболочка земли, сгусток и новый источник интеллектуального и эмоционального излучения.

Ноосферу питают не только остающиеся в истории великие творцы, но и безвестные малые кружки, в которых объединяются люди, которые думают, делятся своими мыслями, пробуждают мысли у других.

Можно закрыть школу или журнал, можно приручить актеров и режиссеров, можно полностью изменить лицо Академгородка.

Домашние кружки могут распасться сами собой (так и бывает), но их запретить нельзя — на их существование никто не спрашивал разрешения. Это среда

тью русской литературы, и в доме сценариста Николая Оттена. Книга никем «сверху» не планировалась, ее создавали сами писатели. В ней есть стихи, сценарии, очерки-однодневки. Но на удивление, много таких, что живы и сегодня, — сколько литераторов именно здесь начали: Булат Окуджава и Владимир Максимов; остались в литературе стихи Д. Самойлова, Н. Коржавина, В. Корнилова, Б. Слуцкого, очерки Фриды Вигдоровой. Первая публикация прозы Марины Цветаевой. Эссе о Бунине, о Всеволоде Мейерхольде.

неформального, личного общения, самовозникающая, самодействующая и самоисчезающая. Их летучесть, неуловимость, почти бесструктурность — мешают понять это явление, оценить его значение, затрудняют его описание, но и способствуют тому, что их — без кардинального, полного изменения климата в стране — не устранишь. Они и сегодня продолжают питать культуру, составляя ее кровеносную сеть.

Кружки существовали и существуют всегда и везде. Ведь определения «Штурм унд Дранг», «Французские романтики», «Озерная школа», вошедшие в школьные учебники и научные исследования, возникали потом, а вначале были просто группы молодых людей со сходными целями, идеалами, до некоторой степени, — сходством характеров.

Начав расспрашивать, я и в Европе натолкнулась на такие кружки: в одном целый год читают Ницше, в другом слушают доклад о рассказах Паустовского, в третьем разбирают стихи Стефана Георге.

Но нигде, кажется, кружки не играли такой роли, как в России. У интеллигентов Запада чаще всего есть множество возможностей высказать свои взгляды публично: газеты, радио, телевидение, политические партии, университетские и церковные кафедры, симпозиумы, книги.

Многие советские интеллигенты не располагают для свободного обмена идеями ничем, кроме кружка. И я имею в виду не только диссидентов. Кружки эти неверно называть подпольными — это придает им подчер-

кнута политическую окраску (есть и множество политических, но сейчас речь об иных).

Виктор Шкловский в книге «Гамбургский счет» (1928) рассказал, что в Гамбурге было кафе, в котором раз в год при закрытых дверях собирались борцы со всего мира. Они устраивали настоящие соревнования, и первое место занимал тот, кто на самом деле был сильнейшим (тогда как в обычных состязаниях это могло определяться сделкой, заключенной заранее)..

Так и в искусстве, в литературе был и есть «гамбургский» истинный счет, истинные, а не ложные лауреаты. Понятие осталось.

И сегодня в газетах, на радио, на телевидении часто можно встретиться с дутыми репутациями, которые соревнования в гамбургском кафе (неважно: реальном или вымышленном) не выдержали бы. А в малых домашних семинарах только гамбургский, то есть истинный, счет и царит.

...Закончился мой доклад на очередной пятнице. Перед ним я волновалась так, как не волнуюсь перед публичными докладами. Тщательно записала все замечания, их было много, теперь все перебираю: с чем согласна, с чем не согласна, какие факты нуждаются в дополнительной проверке, какие мысли — в дополнительной аргументации. А что-то, видимо, придется просто выбросить или изменить коренным образом...

Если не интересно, тебя просто никто и слушать не будет. Тут приговоры выносятся, исходя из действитель-

ной новизны, значительности идеи, талантливости стихотворения, романа, лекции. Наверное, это нужно для культуры любого общества.

В таких кружках и знания передаются более лично, чем в университетских лекциях, где нередко между профессорской кафедрой и студенческой аудиторией — провал.

В фильме по роману Рея Бредбери «451° по Фаренгейту», когда сожгли все книги, умирает старик; с ним рядом сидит мальчик, очевидно, внук. Особый обряд прощания, дед снова и снова повторяет книгу Стивенсона, мальчик старается успеть выучить, ловит последние мгновения: надо все запомнить прежде, чем дед скончается.

Комментируя этот эпизод, советские критики И. Соловьева и В. Шитова пишут:

«Человечество способно сохранить культуру только при условии, что один человек будет передавать ее другому — как свой личный опыт, как свой личный завет и память».

«Дописать, прежде чем умереть» на полях рукописи романа «Мастер и Маргарита», ныне всемирно известного, опубликованного на родине через двадцать семь лет после смерти автора, М. Булгакова.

Успеть передать другим, — так говорят, так действуют тысячи, сотни тысяч безвестных российских интеллигентов.

Часто на подобных семинарах мы задавали друг другу вопросы:

— Ну, а как *там*, — то есть за рубежом, на Западе, — как они живут, о чем думают, о чем спорят?

И вот ОНИ ТАМ оказалось для меня — МЫ ЗДЕСЬ.

Не слушаю больше докладов, и меня не слушают. Не могу выйти на московскую улицу. Пытаюсь понять, как живут здесь, пытаюсь рассказать о том, как мы жили там.

Смотрим интересный фильм Деметрия Волчича. Он был корреспондентом итальянского телевидения в Москве, теперь — в Бонне; Волчич взял одно из последних интервью у Владимира Высоцкого.

Высоцкий начал петь для ближайших друзей. И, уже став знаменитым, сказал, что высший суд каждой его работы «моя совесть и мои друзья».

Да, на Западе у человека несоизмеримо больше возможностей выразить себя. Уже знаю, что они далеко не всегда превращаются в реальность, что не все и не всех опубликуют, не каждому дадут высказаться по радио или по телевизору. И эта узаконенная свобода, как и другие, ограничена. Но и такая она — сокровище; мне так же хочется наделить и этими, пусть ограниченными, возможностями моих дорогих соотечественников, как накормить их овощами и фруктами.

Здесь возможностей много. У нас же бывает, что только дружеский круг, кружок. Он нам необходимее и потому, что заменяет многое.

Но ценность его, ценность дружеского общения мне не кажется относительной.

Когда я читала в Москве роман Белля «Групповой портрет с дамой», удивлялась выбору героини: почему именно турок? Откуда в Кельне взялся турок?

В поезде мы заговорили с немкой из Брюсселя, она замужем за архитектором, но уже три года он без работы, живут на пособие с тремя детьми.

— А вы не хотите вернуться в Германию?

— Зачем? Чтобы чистить ботинки у турок?..

Дамский салон в большом городе. Хозяйка — француженка, парикмахер — грек, маникюрша — испанка, ее друг — итальянец, уборщица — словенка.

...Профессор Боннского университета спросил, глядя на темные лица в аудитории:

Зачем вы здесь? Почему не учитесь у себя на родине?

...Зимняя распродажа, — все можно купить несравнимо дешевле, чем в обычное время. Универсальный магазин в Кельне, толчая, почти московская картинка. Слышу громкое радиопредупреждение:

— Дамы и господа! Тщательно держите ваши сумки, следите за карманами! Дамы и господа!

Ну, что ж, разумно — не обычная ли забота о покупателях; сейчас, в тесноте, самое время красть. Респектабельная дама обращается к соседке:

— Ты оглянись, — одни турки...

Оглядываюсь и я. Возможно, много турок, я не различаю: смуглые лица — итальянцы ли, сербы ли, явно —

Средиземноморье. Возможно, среди них есть воры, как они есть среди русских и поляков, евреев и французов. И среди самих немцев. Как же стыдно мне было за этих дам. Стыдно и немного страшно.

Современный немецкий анекдот:

— Какая разница между евреями и турками? —
У евреев ЭТО уже позади.

Выбор героини «Группового портрета» вовсе не случаен. Во время войны Лени полюбила русского военнопленного. Много лет спустя — турка, убирающего мусор; была дружна с монашенкой-еврейкой. Весь роман — противостояние вечным шовинистическим предрассудкам.

Я ужаснулась, узнав в США, что лодки с гаитянами, бежавшими от террора, во Флориде встречают военные и отбрасывают обратно в море. А беззаботные богатые флоридцы смотрят на это с балконов своих вилл. А если бы со стороны Западного Берлина стреляли в тех, кому чудом удалось переползти, перелететь через стену?!

Хорошо, что о гаитянах было написано в газетах, передано по телевидению. Великое благо, не забываю об этом: путь от преступления до громкого слова о преступлении краток. А как долгод, как невероятно опасен этот путь у нас на родине!

Но от слова до поступка, до противоборства злу еще тоже долгий путь. По нему и на Западе идет меньшинство. По нему всегда шли немногие.

А дома казалось — лишь бы успеть выкрикнуть на-шу боль!

Гаитянская боль не выкрикнута, а сообщена. И, насколько я знаю, взрывов общественного негодования не было. Ни походов, ни голодовок протеста. Кто из писателей, из церковных или общественных деятелей громко возмутился?

Проблема иностранцев в Германии (да и в других странах Европы) сложная и все больше осложняется. В богатую страну из бедных ехали и едут люди: учиться, работать. В ФРГ живут миллионы иностранцев. Между тем, не просто кончилось экономическое чудо, а нарастает кризис.

Когда спорят о перспективах политические деятели, философы, историки, бизнесмены, — неизбежно всплывает и проблема иностранцев. Въезд иностранных рабочих в ФРГ всячески ограничивается, выезд — всячески поощряется.

— Иностранцы занимают наши места, у самих нет работы.

Слышу иронические комментарии:

— Ну, немцы пока еще мусор таскать не будут...

Опять же — пока...

Перуанка ведет двух маленьких детей в общественную уборную в Бонне. У дверей вахтерша:

— Иностранцев не пускаем.

Отец-немец устроил скандал.

Вижу и противоположное. Немцы усыновляют маленьких вьетнамцев, корейцев, комбоджийцев. У себя на родине я сталкивалась с таким только во время войны,

с тех пор — не встречала. А здесь уже несколько таких семей знаю.

Или иное: немецкий журналист прожил несколько месяцев среди турок, работал вместе с ними, хотел в буквальном смысле слова побыть в их шкуре, понять, что же происходит с турками в Германии? И подробно рассказал об этом телезрителям.

Сталкиваюсь с людьми разных поколений, которые и сегодня испытывают обостренное чувство вины по отношению к евреям, к «остарбайтерам».

Все сильнее недовольство, и его издавна умело отводили в мутное болото вражды к «ЧУЖАКАМ».

Поколение немцев, которые не из учебников истории знают, к чему ведет шовинизм, стареет. Во всяком случае, не оно определяет общественный климат страны.

За мое недолгое время здесь я увидела, ощутила — здесь главная опасность. Общемировая болезнь шовинизма... Взрыв приближается неотвратимо.

* * *

На вокзалах, на аэродромах везде тележки, не надо самим таскать тяжелые чемоданы. На платформах — схема расположения вагонов, ты заранее знаешь, где ждать нужный тебе вагон.

На магазине «Оптика» — объявление: «Из-за летних отпусков мы не будем работать по субботам. Надеемся на ваше понимание!» Как несложно написать такую записку! Сколько за ней уважения к клиентам. Да, в этой

предупредительности есть и стремление обогнать конкурентов: пусть обращаются к нам, а не к соседям. Но тут не только страх конкуренции.

Мне больно, что я этому и удивляюсь и завидую, — больно за своих. Хочу, чтобы у меня на родине на магазинах или аптеках было бы написано: «Мы надеемся на ваше понимание».

Химчистка на Красноармейской улице, где я прожила последние тринадцать московских лет. Стою в очереди, не длинной, но спешу — ко мне должны прийти, потому то и дело смотрю на часы — успею ли? Приемщица, не обращая внимания на очередь, ведет по телефону какие-то нескончаемые разговоры с подружкой. Замечает, как нервно я посмотрела на часы.

— Гражданка! Вы разве не знаете, что нервные клетки не восстанавливаются?!

Вся очередь смеется, и я смеюсь. И радуюсь, — ведь меня не обругали, а словно даже обо мне позаботились.

На телефонах-автоматах в Вене крупно:

«Этот телефон может кому-то спасти жизнь. Не портить его!»

Перед моими глазами — десятки телефонов-автоматов в Москве, в Ленинграде, в Тбилиси: диски разбиты, трубки оторваны. Может быть, кого-либо подобная надпись и остановила бы? Останавливает же иногда здесь, а я не верю, что люди здесь лучше...

«Кому нужен добрый дедушка? Я живу в доме один, и хотел бы, чтобы в конце недели ко мне приходили дети...»

Пожилой продавец в магазине на Бродвее:

— Мэм, уже поздно, смеркается, Вам нельзя одной идти на 119-ю стрит, я через полчаса закрою магазин и провожу вас.

Разумеется, я не воспользовалась любезным предложением, но настроение от такого улучшается сразу.

Марина Цветаева писала, что у нее — два страшных врага:

Голод голодных и сытость сытых...

Богатейшие витрины на Хоэ-штрассе — главная торговая улица в центре Кельна — оставляют меня равнодушной. Вздрагиваю лишь, когда вижу на тротуаре бородатого юношу. Он сидит, прислонившись к витрине. На груди у него плакат: «Я голоден». Вижу это не в «Литературной газете» в разделе «Их нравы», а своими глазами. Течет нарядная толпа, большинство не обращает внимания. Кое-кто кидает в шапку монеты¹².

Пришлось столкнуться и с «сытостью сытых». Одну эмигрантку спросили, удалось ли ей вывезти свое серебро.

Мысль о том, что никакого серебра у нее не было и в помине, видимо, не приходила в голову богатой собеседнице. «Голод голодных» произвольно рождает зависть и даже ненависть к той самой Германии, где лю-

¹² По поводу этого эпизода, опубликованного мною, я получила несколько читательских писем примерно одного и того же содержания: «Если бы он хотел работать, не был бы голоден». Возможно, они правы. Но из памяти-то вычеркнуть одно из сильнейших впечатлений — не могу.

дям разных стран и континентов еще можно жить, приобретать знания, работать, копить деньги, посылать на родину. Молодая женщина, мать-одиночка, санитарка в больнице зарабатывает 700 марок. А за квартиру надо платить не меньше 300. И все же ей здесь легче, чем вернуться в нищую страну, где семеро братьев и сестер.

Объединенный студенческий клуб. Смотрим фильм о боливийской деревне. Настоящий голод. Там живут еще хуже, чем в СССР.

На улицах немецких городов в определенные дни стоят большие пластиковые мешки Красного креста. Там одежда, обувь. Стоят и стулья, столы, кровати, холодильники. То, что не нужно владельцам.

Представляю своих бедных подруг: сколько девушек, женщин можно одеть из этих мешков!

К ним подходят ночью — днем рыться не разрешено.

«Мы — выбрасывающее общество», — так говорят с горечью некоторые наши друзья.

...На доске объявлений: «Отдам мебель тому, кто вывезет из квартиры спальный гарнитур».

* * *

В Германии я сталкиваюсь со многими людьми, занятыми не только своей профессией, своим домом, своей семьей. С людьми, которых лично касается голод в Индии, землетрясение в Неаполе, аресты в Чехословакии и в СССР. С тринадцатого декабря 1981 г. судьба поляков — прежде всего.

В окнах, в лозунгах демонстраций, в частных домах, в магазинах по-польски: «СОЛИДАРНОСТЬ».

В моем детстве, отрочестве, юности, в пионеротряде и в комсомоле воспитывали солидарность с бедняками. И последующие годы тяжелых разочарований в бывших идеалах не поколебали этого ощущения *солидарности*. То самое слово, которое сегодня рождает новые душевные силы благодаря Польше.

Мне стыдно оставлять на тарелке в ресторане куски прекрасного мяса (слишком велики порции) и не только потому, что вижу на фото умирающих с голоду голодных в Камбодже, а потому, что в Москве, в Ленинграде, в Горьком за мясом стоят в долгих очередях.

Радуюсь встречам с теми европейцами, кто по-настоящему солидарен с униженными и оскорбленными. Узнаю об их неустанной деятельности, об их стремлении облегчить горе дальних; они жертвуют деньги, посылают одежду, лекарства. В Польшу идут грузовик за грузовиком. Вспоминаю Чехова: «Надо, чтобы у двери каждого счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные...»

Этот стук не умолкает во многих немецких домах.

Иностранные рабочие, так же как и бунтующие молодые люди, и те, кто терпит бедствия на разных материках, — все они здесь посланцы иного мира, воспринимаемого подчас людьми благополучными как мир хаоса. Он рядом. Он грозит затопить, поглотить эти комфортабельные дома, где хозяйки неумоимо проти-

рают каждый сантиметр, моют не только лестницы, но и тротуары.

А, может быть, упорядоченность тоже помогает выстоять перед жизнью?

Александр Блок, чье творчество исполнено и страстей разрушительных, вел книгу записей, заноса в нее всех, кто его посещал.

— Александр Александрович, для чего вы это делаете?

— Борюсь с хаосом.

В хаосе жить трудно, почти невозможно. Но сегодня, кажется невозможно и другое: закрыть глаза, заткнуть уши, сказать: «В мой дом хаоса вход запрещен...».

Нам рассказали об одной большой немецкой семье, которая твердо решила уехать из огнеопасной Европы: ведь вот-вот может вспыхнуть третья мировая война. Долго изучали географические карты. Отказались от Австралии — недостаточно удалена. Продали все, что у них было, и купили большую ферму на Фолклендских островах. Через месяц началась англо-аргентинская война.

* * *

Едва дверь в иной мир приоткрылась, хлынул поток впечатлений. Больше, чем могу вместить, несравненно больше, чем могу осмыслить. И бесчисленные вопросы, на которые нет ответов, и детали, которые пока не по-

мешаются никуда, для них еще нет у меня «полки», куда их можно отнести.

...В один из первых вечеров в Кельне мы вышли погулять вдоль Рейна. На набережной кроме нас — ни души. Мы шли по городу с миллионным населением, словно по пустыне. Вдоль улиц вереницы машин «на приколе». И сейчас, когда мы вечерами гуляем в парке, кроме нас — никого. Рассказали знакомому, что это нам в диковинку.

— А у нас в городе в восемь вечера луну уже выключают, а тротуары скатывают к стенкам.

Мое восприятие окружающего и прежде было ограниченным. После обрушившегося удара — мы лишены гражданства, нас не пустят обратно в Москву — картина, быть может, и вовсе исказилась: сквозь слезы любой, самый яркий мир становится мутным.

— Что для вас труднее всего в здешней жизни? — спросили меня.

Я гляжу на фотографии на моем столе: дочери, внуки, родные, друзья.

Кроме тоски по своим, что всего труднее? Труднее всего жить между двумя мирами, когда ощущаешь, что перевести опыт невозможно, а я не закована в броню абсолютной правоты. Я не владею никакими истинами, и вопросов у меня гораздо больше, чем ответов.

II ОТКРЫВАЮТСЯ ЛИ ДВЕРИ САМИ СОБОЙ?

Подхожу к магазину, к больнице, к аэропорту — стеклянные двери услужливо открываются, словно ждали они именно тебя, словно сейчас стоящий за ними швейцар громогласно назовет твое имя. Нет, это просто электроника, и пустой магазин, конечно, мнимость. Хозяева выходят из задней двери. Их вызвал тот самый звонок, который звенит, когда раздвигается дверь.

Многие люди, по-моему, перестали замечать, сколь неотъемлема стала автоматизация, сколько раз на дню они пользуются всяческими автоматами, движутся или застывают на улице по световому сигналу. Уже несколько поколений европейцев должны нажимать кнопки и рычаги в машине, в пылесосе, в электрополотере, в посудомоющей, стиральной и еще скольких машинах?!

Не раз вспоминала я кадр из фильма великого провидца Чаплина «Новые времена»: проработав день на конвейере, герой не может остановиться, он завинчивает гаечным ключом пуговицы на платье прохожих.

В сказках герои обходились и вовсе безо всяких кнопок: они летали на ковре-самолете, посреди луга накрывалась скатерть-самобранка.

Наивному пассажиру, впервые подходящему к зданию аэропорта, может показаться, что двери раскрываются сами собой, как в сказках. Но все, что происходит тут в аэропорту, — и бесшумные, скользящие движения дверей в том числе — результат многих усилий.

Двери открываются.

И общество, куда меня забросила судьба, называют открытым. По сравнению с советским оно и есть открытое: тут тебя не ограничат, не запретят читать какую-либо книгу, смотреть «не тот» фильм, тут не запретят приезжать и уезжать в любом направлении.

Но я о другом. Так ли легко и просто открывается эта жизнь постороннему взгляду? Тем более, что взгляд этот искажен и давно отстоявшимися представлениями, которые складывались годами? Думаю, что нет.

С первых дней я воспринимала регламентацию, то, что мне казалось «ритуализацией» жизни в Германии, как нечто чуждое. Одна из читательниц, критик внимательный и строгий, возразила мне: распорядок существовал исстари. Воскресенье было Божьим днем, а по субботам пекли хлеб. С ней нельзя не согласиться. Теперь я уверенно скажу, что строгий распорядок помогает с детства усвоить некие полезные навыки.

Ноябрь 1980 г. Мы только что прилетели в Германию. Нам позвонил по телефону американский приятель, пригласил к себе в гости и просил условиться точно

о дне встречи — 31 октября 1981 г. Я пожалала плечами. Ну как знать, что произойдет через год?

Произошли события, круто изменившие нашу жизнь. Однако, именно 31 октября, в день, назначенный почти год тому назад, мы подъезжали к дому нашего друга в штате Коннектикут.

«Термин-календер» — у нас в старину он назывался табель-календарь — стал занимать все большее место в жизни современного человека. Такие календари есть и в Москве у многих деловых людей. Почему же меня так поразило предложение друга-американца встретиться через год?

Редко кто из москвичей начинает заботиться об отпуске за полгода, как нередко бывает здесь. И даже если москвич и строит планы заранее, он частенько приговаривает: «Ну, конечно, если все будет в порядке...»

Вспоминаю, как московская соседка, старая комсомолка, инженер, однажды прибежала взволнованная:

— Обязательно приходите вечером. Ко мне приехал из Казани... (называет имя, удивляется, что мы не знаем). Он ведь знаменитый толкователь Апокалипсиса. Я уже несколько раз его слушала и еще хочу. Все, ну буквально все сходится!

Мы не пошли тогда на сеанс провидца-мистика, а жаль. Вспоминала я о нем летом 1981 г., читая во французских журналах и газетах о необычайном успехе нового издания Нострадамуса. В благополучной Франции, не в трагической Москве.

Да и в Германии тоже в 1982 г. было несколько сообщений в прессе: в машину садился незнакомец, пристегивал ремень, в разговоре предвещал конец света в том самом орвелловско-амальриковском¹³ 1984 г., назывался архангелом Гавриилом, исчезал. Ремень же оставался пристегнутым. Сообщения повторяются. Ну, как тут не подивиться еще раз гениальным художественным прозрением Нобелевского лауреата Габриеля Гарсиа Маркеса, который предугадал даже и похожие «практические» шутки своего святого патрона...

Астрологические календари изучаются сегодня в России внимательно и с полным доверием. Сейчас редко встретишь человека, который не знал бы, под каким знаком Зодиака он родился.

Стало обычным, ссылаясь на китайские, японские монгольские календари, в которых каждый наступающий год отмечен в цикле и особым животным — «год Собаки», «год Змеи», год Обезьяны», — и особым цветом и поступать соответственно. И люди хотят верить, что, надев платье «надлежащих» цветов, они могут повлиять на свое будущее. Облегчить его. А, может (кто знает?), и обрести счастье?!

Студентки-первокурсницы одного из сибирских университетов вызывают духов, крутят блюдца. Как их прабабушки, спрашивают, прежде всего, кто, когда, за кого выйдет замуж. Впрочем, бывают и другие вопросы.

¹³ *Андрей Амальрик*. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Амстердам, 1969.

Вернулся спиритизм, а мы в молодости знали его только по роману «Анна Каренина»...

Трудно попасть на прием к Джуне Давиташвили. Говорят, что у нее пальцы и ладони излучают тепло, магнетические силы. Говорят, что она лечит и членов советского правительства. В немецкой газете я недавно прочитала, что Джуна еще и «омолаживает» женщин, — без всяких пластических операций разглаживает морщины. Многие писатели стремятся попасть к ней. Все чаще даже скептические интеллигенты хотят лечиться не у врачей, а у тех, кого называли прежде знахарями, шаманами, а теперь осторожно, чтобы включить в систему понятий, официально допустимую, называют «представителями народной медицины».

Взрыв веры, взрыв суеверий, взрыв отчаяния — все вместе.

Мы жили, и многие в Москве продолжают жить в ожидании Апокалипсиса. Когда время не расчленяется на часы, дни, месяцы. Оно, время, то ли еще не наступило, то ли остановилось.

Ожидание Апокалипсиса с «Термин-календарем» совмещается плохо. Наверное, потому так поразил меня американский приятель.

Отрывочные фразы, услышанные в разных домах здесь, в стихийной, а не плановой экономике: «Машину мы купим через полгода... А дом нам удастся построить лишь в 198... году... Сейчас мы можем позволить себе провести отпуск в Италии... Нет, нет, ребенка мы еще не можем себе позволить... Да вы посмотрите отдел объяв-

лений об аренде квартир: в большинстве «квартира сдается только бездетным...».

«В Германии больше не рожают», — безапелляционно заявила одна молодая особа. Да и женятся-то не очень, предпочитают никого ни к чему не обязывающую систему связей, которые могут длиться годами. Живут то вместе, то порознь.

Гуляя, мы неизменно встречаем коляски, малышей — Слава Богу, рожают, да и свадеб немало. Но доля истины в словах нашей собеседницы есть.

Жизнь всячески планируется, и так, чтобы удовольствий в ней было побольше, что естественно. Но вот, если бы в календаре юноши значилось: «27 октября пойти на свидание с Наташей», я бы усомнилась в истинности его чувства. И не хотела бы, чтобы на месте его подруги оказалась одна из знакомых мне девушек. Пример мой воображаемый, а тенденция реальная.

Конечно же, надо записывать даты намеченных встреч, свои обязательства. Однако, видела я и такие записи: «позвонить матери», «поздравить отца», «навеситить родителей». Видела у людей не старых, на память не жалующихся. Рядом с деловыми и бытовыми напоминаниями (необходимыми — повторю — и хорошо бы многим моим соотечественникам освоить этот опыт) «заплатить за квартиру», «отнести костюм в чистку», стоит и «навестить мать».

Ведь невольно примеряешь к себе. Хотела бы я, что бы мои дочери вспоминали обо мне по такой записи? Не желаю я этого и моим сверстницам в Европе.

Думаю, что здесь ни при чем общественное устройство. Это и есть та область человеческих связей, в которую не должна бы проникать автоматизация, но, к сожалению, проникает. Не без последствий, — для родителей и для детей, для дедов и внуков.

Быть может, дело и в том, что здесь всячески охраняют частную жизнь. Здесь не принято, не полагается вмешиваться, задавать вопросы, расспрашивать о личных проблемах. А родители, вероятно, и здесь позволяют себе задавать любые вопросы. И не всегда ощущают, что дети-то незаметно стали взрослыми и надо, смиряя себя, промолчать.

Впрочем, из родительских домов здесь взрослые дети, как правило, уезжают вне зависимости от создавшихся отношений: учиться в другом городе, повидать мир. Но бывает и для того, чтобы, уехав из дома, отгородиться хоть расстоянием от излишних вопросов, от непрошеного вмешательства. Чтобы стать самостоятельными.

Так, если посмотреть глазами детей. А если глазами родителей: быть может, им и не хочется, следуя непременно за детьми, менять место жительства? Образовалась привычная среда — и дома, и переулки, и деревья, и люди; как же важна такая среда, особенно для старых людей! Ты уже можешь быть на пенсии, но вблизи твои соседи, друзья, бывшие ученики или бывшие пациенты, или клиенты.

Моя восьмидесятипятилетняя мать умирала среди родных и друзей — как и жила. До ее последнего вздо-

ха рядом были мы, ее дети с мужьями и женами, внуки и правнуки. Из ее сверстников мало кто остался в живых, но проводить ее в последний путь пришло много людей. И пришли они не ради нас, а ради нее. Она сцепляла наши родственные семьи, в сущности, целый клан, обросший друзьями. Сложные, как любые семьи, со своими притяжениями и отталкиваниями, своими не простыми внутренними конфликтами. Мама, почти не верующая, не церковная, щедро наделяла близких и дальних религией любви и братства. В день ее рождения и годовщину смерти мы собирались у ее могилы, потом вместе ехали домой, долго сидели за общим столом. Быть может, этот островок, эта наша, только наша семейная традиция помогла кому-либо из нас устоять в трудном, порою страшном мире? Мне помогла и помогает.

Такая мать — редкий дар судьбы. Но и нам, матерям обыкновенным, нужны забота, любовь детей. Кажется мне, что это нужно и дочерям, для них самих. Ведь научиться давать для души гораздо «питательнее», чем научиться брать.

Никому я не желаю тяжкого советского опыта, когда из-за бесквартирья два-три поколения вынуждены были тесниться в одной квартире, а то и в одной комнате. Вот от такой насильственной совместности, возможно, и хотелось подчас очутиться на разных материках.

Смотрю на один-два ряда одинаковых кнопок на входной двери, которые я уже привыкла нажимать. А на скольких дверях у нас была (и еще есть) целая вереница кнопок разной формы и цвета и список звонков такой

длины, что приходилось добавлять: «Ивановым — один длинный, два коротких», «Вардману — два длинных, один короткий...». За таким списком целые романы и драмы о совместности и несовместимости многих семей с одной на всех уборной в конце коридора и часто безо всякой ванны.

Так безусловно плохо.

Но хорошо ли, когда семью соединяет лишь один раз в год вместе проведенное Рождество, соединяют только открытки и подарки к дням рождения? Так распадается самой природой данная связь поколений. Так становится почти невозможным для старших передавать опыт младшим и еще менее возможно для старших учиться у младших.

Я счастлива, что кое-чему научилась у своих дочерей их мужей, их друзей. В частности, тому, чтобы не считать опыт своего поколения единственным и непогрешимым.

Видела я и здесь, как три поколения одной немецкой семьи хотят жить вместе. Четверть века они снимали дом, теперь его купили. Родились внуки. Перестраивают дом таки образом, чтобы оставалась полная возможность когда нужно, когда просто захочется — отделиться. Не лучшее ли устройство? Далеко не всегда и не всем доступное, но далеко и не все к такому стремятся.

На курсах немецкого языка, где я училась почти два семестра, тема очередного урока: «Современные большие семьи», когда несколько молодых семей с маленькими детьми объединяются, снимают большую квартиру

и делят обязанности, что дает возможность каждому получить несколько больше свободного времени для своей работы и учебы и уменьшает расходы... Мои сокурсники обсуждают этот опыт. Бразильянка:

— Интересно. Стоит попробовать.

Палестинец:

— Нет, мне это *очень* не нравится. Сосед ставит громкую музыку, а я в это время хочу тишины. Или наоборот. Вообще не хочу я, чтобы мне кто-то диктовал, когда завтракать, когда обедать, когда ужинать, когда ходить в кино... Да, таким образом можно сэкономить много времени и денег, но по мне — пусть хуже, но только как хочу я сам...»

Да, любые связи, в частности, и связи семейные неизбежно ограничивают свободу. Люди выбирают между связанностью (привязанностью), причастностью и равнодушным отстранением.

А мне не отделаться от вопроса, почему одинокие матери и их взрослые дети так часто живут в разных городах...

* * *

В Москве я часто слышала: «На Западе это невозможно», «Запад не допустит», «Нет, Запад и пальцем не пошевелит».

Здесь я убедилась, что такого единого «Запада» вовсе не существует. Даже географически. Чешский изгнанник Павел Когоут говорил:

— Я живу теперь в Вене, она на восток от Праги, а не на запад.

Впрочем, и в Москве «Запад» — понятие условное. Это все, что не относится к СССР и странам восточного блока. Остальное — Япония, например, и Австралия — в таком смысле тоже Запад. Мифологический «Запад» исчезает при поездках по Европе, при сопоставлениях. Еду из Германии в Италию. В незапамятные времена, читая лекции по зарубежной литературе, я рассказывала студентам об итальянском путешествии Гете, о том, как он обнаружил в Риме иную душу в себе самом. Эту страницу его биографии я в молодости любила больше, чем другие. Рассказывала о бегстве Гете, и понятие «бегство» воспринимала вполне буквально, из порядка в беспорядок.

И теперь, когда я впервые увидела Италию, в глаза бросаются, прежде всего, внешние различия. После опрятности немецких городов — мусор. Я ведь ко времени той поездки почти год прожила в стране, где капля чая, пролитая на полированный стол, вызывала порой такое волнение, будто начался пожар. Наш рассказ о том, как в начале пира в Грузии хозяйка нарочно выливает на белоснежную скатерть красное вино, чтобы гостям было вольготно, вызывал немалое удивление.

После тишины немецких вечеров разноголосый южный шум, после чинной скуки — веселье.

Незадолго до поездки в Италию мы побывали в старинном немецком городке Эйнебеке. Наш приятель рассказывал, что именно тут началось пивоварение. Эйне-

бекцы учили даже самих баварцев (вероятно, у баварцев есть иной вариант...). Летний вечер, на улицах пусто. Должно быть, жители сидят у телевизоров или в пивных, или в своих внутренних двориках.

На узкой римской многолюдной улице две немолодые женщины разговаривают хриплыми голосами, может, переругиваются, а может, и мирно сплетничают. Размахивают руками, не замечая ни прохожих, ни автомобильных сирен. Кажется, будто я смотрю кадры из неореалистических фильмов, столь мною любимых.

В Риме никакого «цу», все открыто. Вечерами, даже ночью, есть открытые магазины и рестораны, люди гуляют, сидят за столиками, пьют, поют, танцуют.

Радуюсь чужому веселью; мне мила эта шумная, словно и беззаботная улица. Но и быстро устаю. Хочется поскорее уйти в закрытый дом. Немецкие нравы, оказывается, тоже отвечают некоей душевной потребности.

Маленькая римская площадь, современная и старинная. Библиотека Гоголя в городе, который он назвал «родиной моей души», где он писал «Мертвые души».

Из солнца, из бывшего имперского великолепия, из «*memento mori*» и «горе побежденным», из колыбели христианства, — совсем недалеко от этой площади Коллизей, где первых христиан бросали на растерзание львам, — изо всего этого и прежде всего из гоголевской прошлой русской жизни, возникали Собакевичи и Чичиковы, и коляска, и Петрушка, и птица-Тройка...

Теперь я уже ехала в сопровождении Гете. Понемногу читала «Итальянское путешествие» в подлиннике.

Гостиницу в Венеции «Королева Англии», где он жил в 1786 году, мы не нашли. Не «Лондон» ли сегодняшний? Самая близкая гостиница к площади Св. Марка.

А кофе мы пили рядом с мемориальной доской: «Здесь Петр Чайковский создавал Четвертую симфонию». Еще не нашла того дома, где прошли счастливые римские сновидения Герцена, ни того, где был написан «Идиот». Во Флоренции я еще не была.

Первую студенческую работу я писала о Бокаччо. В те далекие годы я прочитала у Энгельса об эпохе, «...которая нуждалась в титанах и родила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености».

Перед ними, титанами культуры, я преклоняюсь по-прежнему. Даже, чтобы воспринять сотворенную титанами культуру, нужны невероятные усилия, вовсе не всем доступные. А уж создать!

Все больше раскрывается разнообразие мира и старой Европы. Богатство, многоголосие, многокрасочность.

* * *

Оживают отвлеченные понятия. Сколько раз я дома слышала слово ПЕН-клуб.

Что стояло для меня за этими тремя буквами: сокращение — поэты, эссеисты, новеллисты? Прежде всего, представление о защите. Как только в Советском Союзе

начинали преследовать литератора, — английские, американские, французские, немецкие коллеги принимали его в свои ПЕН- клубы.

Членами ПЕН-клубов стали московские писатели Владимир Войнович, покойный Александр Галич, Георгий Владимов, Владимир Корнилов, Владимир Максимов, Лидия Чуковская... В немецкий ПЕН-клуб в 1981 г. приняли арестованного ленинградского филолога-германиста Константина Азадовского; во французский — арестованного историка Арсения Рогинского.

Нереальный, заморский ПЕН-клуб становится для меня зримым и, естественно, немного иным.

В городе Фрайбурге в мае 1981 г. проходил очередной съезд немецкого ПЕНа. Отчеты, прения, президиум на сцене; потом писатели читают стихи и прозу. И некоторые разговоры в кулуарах, как у нас, едва ли не значительнее, чем речи с трибуны.

Во Фрайбурге молодые люди захватывали пустующие дома. Представители «захватчиков» пришли на заседание ПЕН-клуба. Принесли брошюры, листовки, плакаты. И выступили в нарушение повестки дня.

— наших товарищей обыскивали, арестовали. ПЕН должен поддержать наши требования: освободить их.

Должны или не должны? Возникает спор. Большинство ссылается на то, что ПЕН — организация не политическая, обязана вмешиваться только, когда нарушается свобода слова, когда люди подвергаются преследованиям за то, что они говорят и пишут. Меня гложет червячок сомнения: разве писателей занимают лишь писатель-

ские «цеховые» проблемы? Но ведь я — в другом мире. Социальными проблемами тут занимаются политические партии и профсоюзы, пресса, телевидение, радио. Разумеется, если писатели хотят, они тоже могут принимать участие в политике. Могут, но не обязаны. И ведь мы из Москвы просили у ПЕН-клуба помощи только для литераторов.

«...Марбург», — так называется одно из лучших стихотворений Пастернака. Он был студентом в Марбурге в 1912 г. Там к нему пришло жизненно важное решение: он оставил философию. Не стал композитором. Не стал ученым. Стал поэтом. Марбургу посвящены и страницы «Охранной грамоты».

В стихотворении город готовился к Троицкой ярмарке. Так получилось, что и мы впервые приехали в Марбург на Троицу. Снова убеждаемся — поэтический ландшафт точен. Марбург действительно «взбежал на гору».

*Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Grimm.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья...*

Мы поднимаемся медленно, на каждом витке дороги вплоть до замка — новая панорама. В Марбурге жила герцогиня Елизавета. Пастернак называл ее Венгерской, здесь ее зовут Тюрингской.

По легенде, она не хотела жить так, как полагалось (и ныне полагается) жить людям ее среды. Она приняла всерьез христианские заповеди. Помогала бедным, больным, искалеченным. Делилась хлебом и отдавала последнюю рубашку. За что была отлучена от власти

и богатства. А потом, годы спустя, канонизирована. В городе воздвигли церковь Святой Елизаветы.

В этой церкви вспоминаю Андрея Сахарова. Канонизация к нему, вероятно, придет все равно — в какой-то из существующих церквей. Но нужно-то, чтобы его избавили от преследований сейчас; необходимо, чтобы ему дали жить свободно.

Доехали до Гиссельбергерштрассе — улицы, на которой Пастернак жил 70 лет тому назад. Один из первых же встречных отвечает на наш вопрос: «Вон дом номер пятнадцать. На нем памятная доска».

Списываю текст:

Boris Leonidovic
Pasternak
1890–1960
Nobelpreis fur Literatur
1958
Student
Der Philipps-Universitat
zu Marburg
1912
Leb wohl Philosophie
Ochrannaya Gramota 10

Кто автор текста? Кто так уместно вставил цитату из «Охранной грамоты» — «Прощай, философия!?» Кто-то, знавший книги и судьбу поэта. Долго не могу получить ответ. Марбургские слависты рассказали, что проект переписывали несколько раз. Значит, текст написал не

безвестный ценитель Пастернака, как я решила вначале, а это плод коллективного творчества.

Незадолго до первой поездки в Марбург мы узнали, что Литературный фонд при Московском отделении Союза писателей с весны 1981 г. требует, чтобы сын и невестка Пастернака, так же, как и дочь и внучка Корнея Чуковского, освободили дачи в подмосковном поселке Переделкино.

Борис Пастернак жил там четверть века. Там он возделывал огород. Писал стихи. Любил. Радовался. Негодовал. Страдал. В его стихотворениях легко узнается переделкинский пейзаж, даже дорога в Вифлеем его «Рождественской звезды» проходит у переделкинских холмов, лугов, пруда.

В его доме формально нет музея (а в доме Чуковского — музей), но в рабочей комнате все осталось, как было при нем. Из окна видно кладбище, три сосны, он сам избрал это место для могилы. В этом доме он умер 30 мая 1960 г. С тех пор к дому и к могиле идут паломники.

А тогда ни в газетах, ни по радио не было сообщения о месте и времени похорон. Лишь у билетных касс Киевского вокзала появилась записка от руки — извещение о том, когда и где будут хоронить Пастернака. В те дни непрерывно работал «беспроволочный» московский телеграф:

— Ты знаешь?

— Когда?

— Передай всем, кто хочет прийти...

Открытый гроб стоял в его доме. Читатели прощались со своим поэтом. Звучала траурная музыка. Играли Генрих Нейгауз, Мария Юдина, Святослав Рихтер. В этом доме часто звучала музыка.

Мы сидели на траве перед домом.

Смотрю пожелтевшие фотографии. Несут гроб. Тогда какие-то распорядители пытались поставить гроб в автобус, заказанный Литературным фондом. Их оттеснили сыновья и друзья. И гроб несли, сменяясь, на плечах до кладбища. Второго июня 1960 года на кладбище собралось около двух тысяч человек, в тот день объединенных общим горем и общими надеждами. Многие из них и потом встречались у могилы в день смерти Пастернака, 30 мая. Читали стихи, пастернаковские и свои.

Что стало с теми, кто тогда хоронил Пастернака? Одних нет в живых (из самых известных в ту пору писателей был Константин Паустовский), другие эмигрировали. Третьи (надеюсь, что их большинство) продолжают приходить на эту могилу. И приводят детей и внуков. Вернусь ли я когда-нибудь туда, пройду ли вдоль кладбищенской изгороди по знакомой дороге?

Ну, кто мог тогда представить себе судьбу двух молодых людей, — на фото они выносят из дома крышку гроба, — одного зовут Андрей Синявский, другого Юлий Даниэль. Синявский еще напечатает в Москве предисловие к первому посмертному изданию однотомника Пастернака. А в 1965 г. их арестуют, и, впервые после смерти Сталина, состоится судебный процесс над литерато-

рами, публиковавшими свои произведения за границей. После лагеря, с 1973 г., Синявский живет в Париже, а с Даниэлем мы прощались в Москве, уезжая...

Хорошо, что в Марбурге есть памятная доска, первая в мире. Я горда за марбуржцев, благодарна им. Но когда же появятся памятные доски в Москве, на доме в Лаврушенском переулке, где жил Пастернак, и в Переделкине?

В комнате на Гиссельбергерштрассе сейчас живет шестнадцатилетний гимназист. Он знает о великом русском поэте, читал «Охранную грамоту». Он пишет в письме нам:

(27 окт. 1982 г.) «...погода была такая печальная, что не ощущалось той атмосферы, которая описана у Пастернака. Только, когда я сижу за своим письменным столом и вижу, как солнце медленно исчезает за холмами, мне кажется, что я могу почувствовать и испытываю те же чувства, которые испытывал Пастернак, когда был в этой комнате и в этих местах...».

О той моей толпе, хоронившей Пастернака, я вспоминала среди других людей — воскресных гуляющих туристов, говорящих на ином языке. Пытаюсь соединить эти так далеко отстоящие друг от друга точки: Марбург и Переделкино.

... Как начинающий критик-американист я в годы холодной войны не раз называла средоточие мирового зла «Уолл-стрит». И не представляла себе реальную улицу — «стрит», действительно зажатую стенами — «уоллз».

Здесь находятся биржи и банки, здесь те большие деньги, о которых я впервые прочитала в романе Дос Пассоса.

Нас привезли в субботний вечер, улица была пуста, черный мальчик потребовал, именно потребовал, а не попросил, дать ему «квотер» — 25 центов.

В другой раз я видела, как с этой улицы текла толпа служащих. Рабочий день только кончился. Кто они — банкиры ли, клерки — не знаю. Тут по одежде редко определишь социальный статус, разве что оборванца с Бауэри или — уже реже — богатую леди с Пятой авеню. Так и не увидела я никого в сером фланелевом костюме: не знаю, помнят ли сами американцы промелькнувшую моду двадцатилетней давности, милого бизнесмена из посредственного бестселлера? Впрочем, недавно я увидела немецкий перевод книги Слоан Уилсон «Человек в сером фланелевом костюме».

...Уотергейт оказался просто громадным отелом Вашингтона. Ни «воды», ни «ворот». Политический скандал, связанный с Никсоном, давно забылся, — слово же «Уотергейт» осталось в памяти именно благодаря скандалу, и потряс он тогда не только Америку. Книгу «Вся президентская рать», написанную двумя журналистами газеты «Вашингтон Пост», — они-то и начали расследование, — я пересказывала друзьям в Москве по мере того, как сама читала ее по-английски.

Разные были у нас отклики на Уотергейтское дело. «Ихнее подслушивание разве что для детского сада годится». И так тоже говорили. Высокопоставленный

советский чиновник, вызывавший в те дни Сахарова, утверждал:

«Да стоит Никсону кулаком по столу стукнуть, и все сразу прекратится... Так что Ваши надежды на их демократию напрасны...».

Теперь отель «Уотергейт» известен еще и тем, что там постоянный номер у дирижера Национального оркестра США Мстислава Ростроповича. Двери в отель раскрываются сами собой, но за ними нечего искать: Ростропович бывает там чрезвычайно редко. Он постоянно в разъездах, в гастролях по всему миру.

* * *

На земле оказалось гораздо больше беженцев, эмигрантов, чем я себе представляла. Из разных стран, с разных континентов.

Эмиграция во все времена — несчастье.

Это потом можно писать — и неумоимо пишут — исследования, скажем, о важном вкладе русских эмигрантов (не всегда достаточно оцененном) в европейское и американское искусство двадцатого века. Но присмотришься ближе едва ли не к любой судьбе, самой что ни на есть благополучной, — и натолкнешься на несчастье.

Владимир Набоков, который уехал из России юношей, стал писателем. Сначала русским, а потом, уже в зрелости — и американским, обрел всемирную славу. И все же, как полны тоской по России его американские

романы! Тоской, выраженной то русскими именами, артистично обыгранными, то названиями городов и деревень, то просто в английский текст вкраплены русские фразы. Словно не писатель — сам язык горюет по родине... И в стихах (по-русски), которые он писал, мелькала, проклиналась, призывалась страна его детства. «Россия, отвяжись, я тебя умоляю...», — эта малоизвестная строка может служить одним из эпиграфов ко всему творчеству Набокова.

Нобелевский лауреат Чеслав Милош после тридцати лет эмиграции испытал счастливое свидание с родиной. Он побывал в Польше в ее звездный час. Он увидел строки своих стихов, выбитые на том самом знаменитом памятнике, пьедестале из трех крестов в Гданьске, поставленном в память расстрелянных рабочих:

Вы, принесшие горе простому человеку,
Вы, смеющиеся над его горем,
Не думайте, что вы в безопасности.
Поэт помнит обо всем. Вы можете его убить.
Новый восстанет.
Ни дела, ни слова — ничто не забудется.

Тем страшнее должно быть для Милоша в отдаленной океаном Америке все то, что происходит в Польше теперь¹⁴.

Русский поэт-изгнанник Иосиф Бродский в одном из интервью сказал, что, вероятно, писал бы стихи, подоб-

¹⁴ В декабре 1981 г. в Польше было введено военное положение.

ные тем, которые он пишет в Америке, в любом месте, где бы ни стоял его письменный стол. Но сколько обыкновенной тоски по своему Ленинграду и в интервью, и автобиографической прозе, написанной по-английски, и в стихах о чем-то совсем другом, — будь то шотландская королева или венецианские впечатления.

Каждый пытается преодолеть тоску, отчаяние посвоему. Я назвала трех писателей, наделенных даром, талантом. Их судьбы исключительны. Но эмигрируют отнюдь не только писатели.

Еще дома я читала романы Ремарка «Возлюби ближнего своего», «Триумфальную арку»; «Транзит» Анны Зегерс. Читала о том, как эмигранты бедствовали, как им было тоскливо и страшно в чужом мире; о том, как в Париже, в Праге, в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе эмигранты спивались, сходили с ума, кончали самоубийством. Читала я о том же и в книгах русских писателей-эмигрантов.

Спроси я себя тогда, — «Знаешь ли ты, что такое эмиграция?», — я бы наверное, вспомнила про эти книги. Знала, но совсем иным знанием. Не сегодняшним, когда все воспринимаешь и сквозь свой собственный опыт.

Эмигранты «третьей волны» живут в большинстве своем гораздо лучше, чем их предшественники в двадцатые годы.

Я не забываю о том, что и мой опыт — тоже исключение. И потому, что мы — эмигранты вынужденные, мы уезжать не собирались. И потому, что у нас было много друзей в Германии, в США и в других странах. И пото-

му, что в силу особенностей биографии моего мужа, его корневых связей с Германией, перед нами распахнулось столько дверей, что до конца жизни едва ли хватит времени во все войти...

Но так — у очень немногих.

...Молодой человек рассказывает:

— Мои родители бежали из Венгрии после 1956-го года, а я родился уже здесь, в Германии.

— А что делают ваши родители?

— Они умерли. От тоски по родине.

Сказал щемяще-достоверно.

От тоски никакая исключительность не спасает.

И сегодня в наш дом приходит множество вестей о тяжелых эмигрантских судьбах, — о венских, итальянских пансионах, немецких лагерях для беженцев, о напрасных поисках работы, об отказах в праве убежища. Конечно, в лефортовских камерах, в лагерях Потьмы хуже. Но и так несладко.

Со средой эмигрантов я непосредственно сталкиваюсь не часто. Газеты и журналы просматриваю, а когда приезжаем в Мюнхен, Париж, Нью-Йорк, неизбежно встречаем не только друзей — одна из истинных радостей — но и земляков, часто совершенно чужих, а то и чуждых.

Среди крайностей: для одних Запада как бы и вовсе не существует. Грубая сила их вытолкнула, они в Париже, Нью-Йорке, Мюнхене, но их жизнь, пусть в воспоминаниях, продолжается в Москве, Киеве, Ленинграде. Они не знают и не учат иностранные языки, читают только

русские книги, интересуются только русскими делами; встречаются только с земляками. Ничего и знать не хотят о чужих бедах, о чужом горе — только русское горе. И это лучшие, те, кого заботят не только их личные дела, не только их существование. Ведь даже те москвичи, которые погружены в заботы о своих терпящих бедствия соотечественниках, редко представляют себе, что три миллиона человек погибли в Камбодже, что миллионы людей в Индии, Африке, в нескольких странах Латинской Америки умирают от голода.

Не только от русских эмигрантов зависит, увидят ли они иной мир. Но если они сами не захотят, то двери наверняка не откроются.

Между тем, некоторые из них ворчат, негодуют, ругательски ругают тот самый Запад, который дает им возможность и жить, и ругать его сколько угодно...

Другая крайность — прошлое отрезается начисто. Чем скорее и решительнее, тем лучше. Люди стремятся овладеть языком так, чтобы и следа русского не осталось: стать американцем, немцем, французом. Такими бывают чаще молодые, но иногда и зрелые люди. Один ученый-гуманитарий (он был в СССР в своей области известен) на Западе наложил на себя запрет: два года не читать ни строки по-русски. И начал писать по-французски.

— С какой скоростью от вас отдаляется Москва?

Вопрос — как удар. Хотела сразу сказать, что нисколько не отдаляется. А вопрос-то серьезный. В чем-

то и приблизилась я к Москве. Не помню, когда я так много, так сосредоточенно думала о ней, о своих близких.

Но Москва и отдаляется. Я забываю то название переулка, то имя приятеля, то дату. Да, конечно, это и возрастное; даже от своих дочерей я успела еще дома услышать: «мы ничего не помним...». Но сейчас-то невольно все приписываешь непреодолимости этого расстояния.

На выставке советского искусства в Кельне летом 1982 года я спорила с многочисленными противниками, для которых это было старо..., традиционно..., девятнадцатый век... Это искусство в противовес нонконформистскому, которое называют еще «официальным», но только лишь потому, что этих художников не исключали из Союза художников, более того, некоторые из них ездят за границу, и картины их ездят.

Могу ли я, однако, объективно судить о живописи? Оставляю в стороне, что я не компетентна, — но пишут художники не для искусствоведов, — когда вижу на картине церковь. Не сокровище нашей церковной архитектуры. Мимо этой московской церкви я сотни раз ходила в библиотеку иностранной литературы и останавливалась. Особенный синий цвет, даже в дивном Коломенском такого нет. Или пейзажи Замоскворечья, — эти картины я впервые увидела больше двадцати лет тому назад, и помню «прототипы» этой крыши, этого кривого переулка. А ведь у моих собеседников

нет этих ассоциаций, и они, естественно, судят — живопись как живопись...

Да, меня как охватила ностальгия еще в Москве, когда поездка (не отъезд) приближалась, так и не отпускает, держит цепко. Старое слово. Теперь, наверное, надо называть по-иному.

И относятся к этому по-разному. Вот писателя Александра Зиновьева спросили на лекции, испытывает ли он тоску по России.

— России нет, есть СССР, так что проблема закрыта.

Может быть, он эпатирует эту публику, с ним, в книгах, такое нередко бывает. Но если это соответствует его мыслям, значит, он и впрямь там ничего не оставил, кроме изображенного им тотального царства уродов, негодяев, мошенников, рабов, вырождков.

И дома, и здесь я много раз встречалась с поклонниками Зиновьева. Их очень много, разных возрастов. Он, бесспорно, ответил некой существенной потребности, выразил ее.

Но тут различие. Снова и снова, вспоминая, читая, слушая, говорю: «Я, видно, жила в другой стране». Там, конечно, были и есть и те, кого изобразил Зиновьев. У него, по законам его жанров, я и не прошу «лучей света в темном царстве». Но мне-то не приснились, не привиделись и не рождены ностальгической аберрацией (жаль, не могу сослаться на те споры о Зиновьеве, которые вела в Москве) люди высокой культуры, мудрости,

нравственного величия, — они были тогда, есть и теперь, они живут, работают вопреки всему.

Неутомимо, страстно я сама приближаю к себе Москву, и она приближается книгой, письмом, журнальной статьей. Вот голоса сейчас услышать трудно, телефонная связь так затруднилась.

Нет, не отдаляется. Она — моя Москва — во мне.

Русские песни в прекрасном исполнении певицы-артистки Жанны Бичевской. Звуки с детства знакомые, уносят меня далеко-далеко от Кельна. Мои поля, леса, переулки, — в те места, где я впервые услышала «По Дону гуляет...» Или «Шарик улетел» Булата Окуджавы. Мне-то казалось, что его песни может петь только он сам. Однако, она поет настолько по-иному, что принимаю.

Впервые я услышала «Шарик» в Шереметьево. Не там, где теперь известный аэропорт, а в деревне — голос молодого Булата «Шарик улетел...». Тогда Булат отложил гитару, а шарики еще долго продолжали летать. Сейчас, если — редко — и появляются, то сразу лопаются...

Мне чужды и те, кто отталкивает Запад и те, кто забывает о своей родине. Пытаюсь следовать примеру тех эмигрантов, которые стремились и стремятся объединить, связать расколотые жизни, прошлое с настоящим, начала и концы. Пусть и в самом причудливом монтаже, тем усилием сознания и подсознания, что неизбежно связано с болью.

Совершенно по-новому перечитала я «Былое и думы» Герцена и часть его статей. Рада, что первая здесь

опубликованная небольшая книжечка (написанная еще в Москве), — «Последний год жизни Герцена». Замечаю многое похожее, что я не могла заметить там. Но потом видишь и неизбежные различия.

В США нам необходимо было побывать в Санта-Монике, в том месте, куда в годы гитлеровщины эмигрировали немецкие писатели, художники, музыканты. На берегу Тихого океана, в апельсиновом раю стоит дом Марты Фейхтвангер.

Дивной красоты вилла. Поразительная библиотека (завещанная университету Южной Калифорнии). По соседству жили Томас и Генрих Манны, Брехт, Шенберг. Нас встречает подвижная женщина в черном с золотом кимоно. Ей много лет — девяносто один, но старухой ее не назовешь. Водит машину, гуляет ежедневно по берегу океана, без видимого труда достает с полок уникальные тяжеленные немецкие хроники. Показывает книги Томаса Манна и других писателей с дарственными надписями.

Произведения Фейхтвангера, изданные только за последние два года на разных языках, лежат на большом столе. О нем пишут диссертации, монографии. Обращаются к вдове. Она получает по 20–30 писем в день, аккуратно отвечает, помогает, вспоминает.

Мне хотелось бы немного истории, но в музее этого не узнаешь, стены не выдают своих тайн, да и не спросишь же впервые увиденного человека: «А как вы жили тогда? Был тот же океан, тот же рай, цвели персики

и апельсины веснами, а что происходило в это время у вас на родине?!»

Конечно, все несопоставимо. Им — тем, кто тосковал, им пришлось ждать сравнительно даже для краткой человеческой жизни недолго, всего двенадцать лет. Была у многих и бедность, и отчужденность от окружающей среды. Брехту в годы маккартизма пришлось даже отвечать на комиссии «по расследованию антиамериканской деятельности».

У Фейхтвангера эмиграция была, может быть, в самом привлекательном обличи. Впрочем, кто знает, о чем он думал, о чем тосковал, глядя на океан из удивительного этого окна.

Не все немецкие писатели-эмигранты захотели вернуться на родину и после поражения фашизма.

...Пришел иностранец в дом Чуковских в Переделкино. Скольких я там видела, скольких сама приводила! Он прикоснется к жизни хозяина этого удивительного дома, к большому отрезку русской и советской культуры, увидит один из живых ее очагов. Но что он может узнать о наших трагедиях давнего и недавнего прошлого? О том, что было, когда погиб муж Лидии Чуковской? О том, как здесь жил Александр Солженицын еще за два дня до ареста? Это тоже прошлое, но как ясно помню я тот день, когда мы, уже услышав, что он в безопасности, в Германии, в доме Генриха Белля, пошли к Чуковским, и видели эту завешенную и днем плотными шторами аскетическую комнату, письменный стол; больше

там ничего не было. И сияющий переделкинский снег снаружи.

Надо представить себе, осознать труднопереводимость, а то и непереводаемость разного опыта.

Ведь все время сравниваешь, то есть пытаешься переводить, и не с одного языка на другой, а один опыт на другой, сопоставляя одну историю с другой. Опыт личный, то, что накопилось в твоей душе за десятилетия. И неизмеримо более долговременный опыт, тот, что накапливался веками в душе народа, к которому принадлежишь.

Пытаться переводить с одного опыта на другой мне приходилось и в Москве. Объяснять поступки и слова наших иностранных друзей москвичам. Поступки некоторых советских литераторов-диссидентов и не диссидентов иностранным друзьям.

Этим приходилось заниматься и дома, между своими. Возникло нравственное, ненасильственное сопротивление, чаще всего называемое диссидентством.

Люди становились и становятся диссидентами, ибо не хотят, не могут терпеть вокруг себя зла, лжи, несправедливости. Так же, как не хотели, не могли терпеть зла их далекие и близкие предшественники, становясь оппозиционерами, мятежниками, революционерами.

С того времени, как диссидентство возникло, я жила на границе двух групп. Одна широкая — либеральная интеллигенция, люди, работающие в системе. Другая — узкая, собственно диссиденты, люди из системы

выброшенные, либо из нее ушедшие. Разумеется, линия раздела весьма условна и подвижна. Сколько близких мне людей перешло из первой во вторую! Сколько начало переходить, а потом вернулось...

Знаю порядочных людей, которые диссидентами не становились не только потому, что боялись репрессий. Но и потому, что многие больше всего на свете хотели продолжать делать свое дело. Нужное данному учителю, врачу, писателю, священнику... Дело, нужное ученикам, больным, читателям, прихожанам... Дело, нужное огромной стране.

Диссидентами не становились и потому, что ни за что не хотели уезжать, а печальный опыт показывал: если ты выходишь из системы — тебя отбрасывают. Если, к счастью для тебя, не на Восток, в лагерь, то на Запад, в эмиграцию.

Многих отделяет от активных участников движения и усталость, разочарование, неверие.

— Разве что изменишь? Разве эту стену можно прошибить?

Ощущение бесполезности жертв. Не сильнее ли оно подтачивает движение изнутри, чем самые жестокие преследования властей? Ощущение беспочвенности, вероятно, на первом месте.

Кто поддерживает Андрея Дмитриевича Сахарова? Где те, хотя бы десятки людей, которые готовы прорвать любые полицейские кордоны?

...Ночь с 22 на 23 января 1980 г. всемирно известного ученого, лауреата Нобелевской премии мира схватили

на улице, увезли неизвестно куда. Говорят, что в Горький, но кто знает? Уезжаем из опустевшей квартиры на Чкаловской. Острое ощущение сиротства. Наш спутник, американский корреспондент, спрашивает:

— Как вы думаете, будут демонстрации протеста?

Угрюмо, пристыженно молчу. Вряд ли были бы даже из-за повышения цен на мясо, на водку, а уж из-за этой беспрецедентно-незаконной высылки — наверняка нет.

Наша подруга Сара Бабенышева хотела навестить Сахаровых. Прилетела в Горький с тортами, но ее в квартиру не пустили. Продержали в милиции до следующего обратного рейса в Москву.

Она гордо заявила гебисту:

— А что вы будете делать, когда начнется навигация?

Прошло три навигации. Ничего не изменилось. Толп нет. У милиционера, который сидит у сахаровской двери, работы немного.

Не удивительно, что опасное ощущение безнадежности ширилось. Оно подползало и ко мне, разрастаясь порою до отчаяния. Гнала его. Делами мира сего...

Диссидентами не становились и потому, что не хотели уже принадлежать ни к каким партиям, «стаям», сообществам. Слишком горек был опыт отрицательного коллективизма.

Конечно, диссидентство — не партия. Но и малая группа, да еще под таким давлением порою диктует необходимость решений, если и не обязательных, то крайне желательных для всех ее членов.

Не организационно, конечно, а нравственно. Может быть, этот особый вид скованности точнее всего назвать корпоративным.

Большинство людей вообще склонны не к противостоянию, не к мятежу, а к тому, чтобы жить в мире и согласии с государственными системами, каковы бы они ни были. К тому, чтобы поступать как другие.

Мы никогда не делили людей на диссидентов и недиссидентов. Само определение пришло извне, из-за границы. Мне не довелось слышать, чтобы кто-либо говорил о себе «диссидент».

Перегородок не было, но судьбы-то складывались по-разному, и нередко возникали споры, столкновения, расхождения.

В январе 1968 г. тысяча людей подписали письма протеста против несправедливого судебного процесса над Александром Гинзбургом и Юрием Галансковым. Выберу две подписи из этой тысячи, в тот момент они стояли рядом. Год, поворотный в судьбе страны, оказался поворотным и во многих биографиях.

Подписантами были два в ту пору тридцатилетних филолога, талантливых, несомненно призванных именно к писательству. Оба обладали и неким магнетизмом, привлекавшим к ним людей.

Назову одного Сергей, другого Валерий.

Сергей был еще и замечательным преподавателем. На его уроки в школе приезжали со всей Москвы. Было опубликовано несколько его блистательных стихотворных переводов.

Он стал деятельным диссидентом, предъявляя к себе и к другим тоже требования максималистские. Участвовал в издании «Хроники» преследований, арестов, обысков (самом опасном деле в те, да и в эти годы), опубликовал в США книгу, с точки зрения цензуры, «преступную». Его многократно вызывали на допросы. Было ясно, что он у самого порога психушки или тюрьмы. Он эмигрировал. Эмиграция стала для него трагедией.

Валерия «прорабатывали», но на работе оставили без всякого покаяния. Несколько лет не публиковали. От диссидентства он отошел. Сегодня он — один из крупнейших специалистов в своей области, один из лучших знатоков истории отечественной поэзии. Выходят его статьи и книги, он читает лекции. Один из талантливых создателей нашей культуры.

Думаю, что такому как он нелегко было промолчать, когда, например, сослали Сахарова. Более того, его молчание какими-то своими непрямыми путями сказывается и в его творчестве. Но все же он — просветитель у себя на родине, пробуждает добрые чувства у своих читателей и почитателей.

Оба по-разному воплощают самые привлекательные черты российской интеллигенции.

Мне показалось закономерным сопоставить их еще и потому, что облик Сергея запечатлел один из лучших наших поэтов, облик Валерия — один из лучших наших художников. Необычайный «свидетель» — искусство, — подтвердил закономерность сопоставления этих людей.

Две судьбы. Какие-то непредвиденные, непостижимые только рационально, витки обстоятельств определили, при явной общности вначале, такое резкое расхождение потом.

Могли бы они поменяться местами? Не знаю...

Те, кто пошли по дороге Сергея, образовали первый ряд. Загородили собою других. Самопожертвование одних, вероятно, дало другим глоток свободы, хотя бы в своем деле. Отодвинуло границы дозволенного.

Если бы не было тогда (и теперь) этой первой линии, удары пришлось бы по тому слою либеральной интеллигенции, к которому принадлежит Валерий. Удары, подобные тем, что уничтожили лучшую часть нашей интеллигенции в 20-е, 30-е, 40-е годы.

Я уже упоминала дом Чуковских. Корней Чуковский и Лидия Чуковская, два писателя, и тоже две противоположные судьбы. Детские стихи Корнея Чуковского (1882–1969) знает сегодня четвертое поколение детей в СССР. Переводчик (он открыл русским читателям Уитмена, переводил Твена и Дефо), теоретик перевода, замечательный критик, филолог, ревнитель языка, литературовед. Для человека своего времени и взглядов он прожил необычайно плодотворную жизнь, увенчанную признанием и официальным, и читательским. Его несколько раз ругали в печати, он шел на некоторые компромиссы. Так, в последний том своего собрания сочинений он включил работу, рассматривающую три перевода на английский язык повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Чуковский критиковал

американских переводчиков, переводивших повесть топроливо, ради политической сенсации, не стремясь донести ее художественное своеобразие. Однако к этому времени (1969 г.) Солженицына уже исключили из Союза писателей. Его имя начинало быть в нашей стране запретным, И статью, ранее опубликованную, не пропустила цензура для 6-го тома собрания сочинений. Чуковский бился до последней границы, но отступил, не сказал:

— Без этой статьи печатать запрещаю.

Его дочь Лидия, в течение двадцати лет публикуя свои книги в советских издательствах и журналах, тоже шла на определенные уступки. Но в некий момент решила: «Больше никаких компромиссов! Ни одной строки, касающейся трагедии террора, я не опущу. Тридцать седьмой год вычеркнуть не дам...».

А тема лагерей, тюрем, арестов, едва мелькнув в подцензурной печати, стала запретной. Максимализм Лидии Чуковской — пример для ее близкого, а порою и дальнего окружения. Это есть некая единица нравственного отсчета.

Последствия не замедлили сказаться: ее исключили из Союза писателей. С 1968 г. ее книги публикуются только за рубежом. Советские же читатели остались без ее книг, столь им необходимых.

Линия раздела между этими двумя писателями не означает «хорошее» и «плохое».

Компромисс калечит души. Страшно и стыдно жить с кляпом во рту. Каждый день ставит честного россий-

ского интеллигента перед трудно разрешимыми либо вовсе неразрешимыми проблемами.

Снова обращаюсь к нашему недавнему прошлому.

Полтора десятилетия журнал «Новый мир» выражал дух, чаяния либеральной интеллигенции России. Возник даже термин «новомирское сознание». Я тоже была постоянной читательницей журнала. Александр Солженицын оценивал платформу журнала так:

«...как ни парадоксально, ...они (сотрудники „Нового мира“ – *P. O.*) хотели, чтобы именно *этот* режим существовал, лишь придерживаясь своей Конституции...».

Верно. В этом была, вероятно, ограниченность «Нового мира», но была и прочная связь с людьми, думавшими так же.

Автор книги «Бодался теленок с дубом», человек максималистский, тем не менее ощущал многосторонность, широту, придававшие «Новому миру» такую нравственную силу¹⁵.

Есть в солженицынской литературной автобиографии места, противоречащие и основному течению этой книги, и большинству его выступлений последних лет, — прямо связанные с «Новым миром», с его главным редактором Александром Твардовским.

«И, хотя сердце рвется к чему-то большему, к чему-то решающему, но историю меняют все-таки постепенницы, у кого ткань событий не разрывается. Если б можно

¹⁵ Еще выше он оценил значение журнала, пробыв годы в изгнании. См. «Вестник русского христианского движения», 1983, номер 137.

плавно менять ситуацию у нас, — надо с этим примириться, надо б и делать. И это было бы куда важней, чем ехать *объяснять* Западу».

Говорит Солженицын и о «примирительных возможностях» Твардовского. Именно эти примирительные возможности и представляют собой ту готовность к диалогу, которая сегодня определяет, будет ли вообще продолжаться жизнь на земле. Можно ли договориться хоть о чем-то.

Из небольших московских комнат, где мы без конца спорили на эти темы, меня вытолкнуло на просторы большого мира, а проблемы эти, пусть и по-иному формулирующиеся, оказались важными и здесь. И не только для России.

На родине для честного писателя все еще почти полностью закрыты целые пласты страшного исторического опыта: голод, коллективизация, лагеря... Писатель-эмигрант может об этом написать и пишет. Но для писателя-эмигранта начинает отдаляться (с разной скоростью), а то даже и исчезать то, что передать трудно: сегодняшней, сиюминутный опыт, взаимоотношения людей, цены на продукты, новые улицы, сплетни, трудноуловимые вне устной речи изменения в языке. Уж и не говорю о том, как дорог каждый человек там.

И — для русского литератора, быть может, самое главное, — остаться с большим, удивительным, нигде больше не существующим русским читателем.

Каждому из нас, эмигрантов, стоит почаще вспомнить гордые слова, выстраданные Анной Ахматовой:

*Нет, и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл.
Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был...*

При бесконечном множестве вариантов, я вижу две основные возможности для честного российского интеллигента: делать свое дело внутри системы и вне ее. И та, и другая имеют нравственное обоснование. И та, и другая сопряжены с нравственными издержками. Внутри системы, где честно работать становится все труднее, подобного рода издержек несравненно больше, и они страшнее.

Мой безвременно погибший друг, работавший до последнего дня в системе и бесконечно за это себя коривший, сказал однажды: «А я считаю, что мы вправе ставить людей перед нравственным выбором, разумеется, ничего никому не навязывая, не заставляя. Я не делаю этого только по щепетильности...»

Делал он бесконечно много. А эта самая щепетильность — она тоже неотъемлемое качество истинного интеллигента. И как же ее не хватает и дома, и в эмиграции...

* * *

Много и часто говорю здесь о переводе в переносном смысле. А есть еще и первый, буквальный. Я живу в стране, язык которой обязана понимать, да и разговаривать. Иначе, что же увижу, услышу, что смогу понять?

Да, поздно, да, трудно. Но какой же иной выход? Еще дома самый близкий мне человек сказал однажды сурово:

— Если ты ешь хлеб, выращенный этими людьми (мы были в Эстонии), ты, как минимум, должна уметь произнести слова «хлеб» и «спасибо» по-эстонски.

И стояли у нас дома на книжных полках разные разговорники — языки народов СССР.

Поступила на курсы немецкого языка. На столах лежат словари: турецко-немецкий, франко-немецкий, китайско-немецкий, корейско-немецкий, греческо-немецкий... В нашей группе учащиеся из девятнадцати стран.

Через язык я прикоснулась к людям того самого Третьего мира, увидеть который не надеялась. А тут увидела малую часть в быте, в повседневности.

Радуюсь, когда понимаю слова. И очень скоро оказывается, что учусь я не только языку. Дома я нередко слышала о нашем «европоцентризме». Опять же, одно дело просто слышать, знать теоретически. А тут некоторые студенты спрашивают, что такое «ассоциация», «монтаж», «фигуративно», «индивид», «министр»...

— Так ведь в этих словах латинские корни.

— А мой язык — греческий, древнее латыни.

Не могу объяснить своему сокурснику значение слова «беби-ситтер»; соединяю отдельные немецкие слова, отдельные английские, а главное — жесты: качаю воображаемого ребенка. Все тщетно. Вежливый, внимательный молодой кореец не понимает.

— Если она хочет ухаживать за ребенком, почему бы ей не завести своего? А если мать не может сидеть со своим, зачем она рожала?

Тут уж не слова, — целый жизненный уклад.

— А как по-русски «беби-ситтер»?

— Так же — «беби-ситтер»...

Пример на будущее время — Futurum — из учебника: «Через десять лет начнется третья мировая война». Мгновение ужаса, но именно мгновение, — и продолжаю учить немецкие глаголы.

— Какие представления вызывает у вас слово «лето»? — вопрос преподавательницы ко всем нам.

— У нас в Малайзии нет ни зимы, ни лета.

— Я ненавижу лето, мне шум мешает работать.

Ответ озадачивает, и я пытаюсь перевести его так:

— Летом жизнь перебирается на улицу, комната перестает быть защитой, не отгораживает, как зимой...

— Что вы, — возражает мне мексиканка, — именно летом у нас на улице быть невозможно, только комната и защищает...

Учебное задание (несколько фраз, больше мы еще не можем) на тему «Национальный герой». Первое сочинение:

«Кемаль Ататюрк считается национальным героем. Но когда он пришел к власти, он обещал моему народу независимость. И обманул, — у курдов нет ни своего государства, ни свободы...»

Чтение прерывается громкими криками:

— Ложь! Ложь! Ложь!

Немолодой турок яростно обличает, немецких слов не хватает, оба переходят на турецкий. Преподавательница очень тактично пытается призвать к порядку, убеждает вернуться к немецкому, да и перестать так неистово кричать. Она хочет продолжить урок. Но тщетно. Пишет на доске крупными буквами «TOLERANZ» — «ТЕРПИМОСТЬ».

Многое я увидела и услышала в мире иностранцев, которые изучают немецкий язык. Опыт этот был незаменимым. Менее всего встретила я терпимости. Остро дефицитное качество на всех континентах, у всех народов.

Столкновение по поводу Ататюрка едва не закончилось дракой на улице. К чести курда надо сказать, что он тихо повторял:

— Не могу же я на тебя поднять руку, ты мне в отцы годишься...

Турок потом с наших занятий исчез.

Читаем на курсах рассказ немецкого писателя Цверенца. Начало несколько напоминает зощенковских «Нервных людей»: соседка, одолжив сковородку, не отдала ее и после напоминания. Хозяйка сковородки назвала ее «халдой». Далее в конфликт включаются все члены обеих семей от мала до велика, и — рассказ по-луфантастический — некие супер-ракеты.

«Мы, конечно, все погибли; нет нашей улицы, на том месте, где был наш город, только серо-коричневое пятно. Ну, что же: мы все сделали, что могли и должны были

сделать, потому что нельзя же все позволять. Не то соседи совсем уже сядут тебе на голову», — заключительные строки рассказа.

Начинаем обсуждать с малыми нашими языковыми возможностями.

— Эта «война» больше всего напоминает ту, что сейчас ведется между Аргентиной и Англией.

Вскакивает араб из Ирака:

— Все только Англия, да Аргентина, да еще и Польша! Никого не интересует война между Ираном и Ираком! Сотни людей гибнут от пуль и голода...

Его перебивает курд:

— О другой хунте, о турецкой, молчат, не то, что Польша, потому что Турция в НАТО...

Другой араб из Египта:

— Когда пишут об Иране, то клеветают на исламскую революцию...

Мне хотелось его спросить, что он думает о казнях в Иране, о том, что уже два года **все** университеты Ирана просто закрыты, да не решилась. А еще больше хотела я заметить, что происходящее на нашем уроке, в мирной (пока!) Германии так напоминает только что прочитанную фантастическую историю. Атмосфера нагнеталась, никто никого не слушал, каждый спешил выкрикнуть свою боль. Да, мир может погибнуть не только от ракет, но и от ненависти тоже.

Я пишу о переводе слов, понятий, опыта. Есть еще и перевод книг, — романов, пьес, стихов; профессия — переводчик; вид литературы — перевод.

Ефим Эткинд написал книгу «Кризис одного искусства» — о том, как во Франции переводят иноязычную поэзию. Он рассматривает, главным образом, стихи русских поэтов, но также и немецкие и английские. Сравнивает переводы Пушкина, Тютчева, Пастернака на французский и на немецкий языки. В книге собран огромный, интереснейший материал. Эткинд уже несколько лет (он в эмиграции с 1974 г.) ведет семинар молодых французских поэтов-переводчиков. Плод работы этого семинара — двухтомник переводов Пушкина.

В книге «Кризис одного искусства» на множестве примеров показано, как искажается до неузнаваемости иноязычная поэзия по-французски. Многим французским литераторам представляется, что можно либо вовсе обойтись без переводов (культурная автаркия), либо оставить это занятие ремесленникам. Между тем, искусство действительно не знает границ. Понятие «всемирная литература», рожденное в Германии великим Гете, насчитывающее полтора столетия, — реальность.

Среди распространенных клише есть и такое: общительность французов ложная, к себе в дом они не зовут иностранцев (да и соотечественников неохотно).

За последние десятилетия французские литераторы редко звали в дом своей поэзии поэтов сопредельных и дальних стран, чем обеднили свою собственную литературу.

Перевод поэзии необычайно труден. Хороший перевод стихотворения — чудо. В другой стране, на

другом языке должен найтись истинный Nachdichter, со-поэт.

Ужасно, что был длительный период, когда в Советском Союзе почти не публиковали стихов Бориса Пастернака, и он вынужден был заниматься переводами гораздо больше, чем хотел. (Ахматова и Мандельштам занимались переводами только вынужденно.) Но «проиграв» в главном, — в поэзии Пастернака — читатели выиграли в пастернаковском раскрытии иных миров: гетевского, шекспировского. Это тоже было открытием дверей от народа к народу, от души к душе. И сейчас пастернаковские переводы — неотъемлемая часть мировой культуры. А французские антипереводы были (перевод Пушкина показывает, что происходит медленное возрождение этого искусства) закрытием дверей, к которому никто не понуждал.

Слушаю лекцию профессора-американиста из Лиона. Он сказал, что во Франции после Хемингуэя и Фолкнера перестали читать современных американских писателей. А в Париже сразу, по мере появления в США, издавали книги Мейлера и Апдайка, Стайрона и Капоте, Болдуина и Джойс Кэрол Оатс.

Результаты те же: разрыв связей, разобщение людей...

Смотрю на мирные тома Энциклопедии Дидро — той единственной, где и карты, схемы, сведения, уровень тогдашней науки, но еще и глубокая вера: вот только грамотные люди прочитают, поймут, и мир станет пригодным для нормальной жизни, прекратится угнетение, прекратятся войны...

С тех далеких пор издано множество энциклопедий, сведения в них наиновейшие, но вера в прогресс, как в залог мира, давно потускнела, едва ли не исчезла.

Крах просветительских иллюзий сказался с особой силой в России и в Германии XX века, отчасти и потому, что безмерность злодейств, свершенных обычными людьми, невозможно воспринять лишь на уровне рациональном.

К сожалению, и я уже не могу разделять наивные верования просветителей: стоит ввести всеобщее образование, и не останется больше темных пятен, придет конец всякому насилию и в личных отношениях, и в отношениях между странами.

Но не разделяю я и всемирный, всеохватывающий скепсис, подозрительность, даже ненависть к разуму как к орудию Сатаны. Я все еще верю в то, что слово могущественно, что познание мира плодотворно и бесконечно, верю, что можно передать хотя бы часть опыта.

Биография Андрея Сахарова, и вообще необыкновенно поучительная, особенно важна, как мне кажется, сегодня для пацифистов Запада.

«Отец водородной бомбы», как его позже назвали в западной прессе, молодой тогда еще академик, великий ученый, погруженный в теоретическую физику, одну из самых абстрактных наук, ощутил ответственность за судьбы человечества. Летом 1968 г. он изложил свои мысли, наивно простые, доступные каждому.

Меморандум Сахарова «О мирном сосуществовании, прогрессе и духовной свободе» был издан на де-

сятках языков во многих странах, кроме нашей родины. Автора немедленно сняли с тех постов, которые он тогда занимал.

Галилей (в драме Брехта) просил ученых коллег посмотреть в недавно изобретенный телескоп, чтобы они могли убедиться в верности открытой им теории. Они отказались, ибо не хотели видеть никаких доказательств, противоречащих их догмам.

Сахаров предложил правительствам, и своему и чужим, предложил народам, своему и чужим, — осмотреться, взглянуть на окружающий мир даже не в телескоп, просто взглянуть на мир глазами, не замутненными корыстными политическими расчетами и предрассудками.

«Мир накануне гибели», — это заявил и доказал ученый. «Но мир может и должен быть спасен», — надеялся просветитель. Единомышленников у Сахарова в России много. Сколько? Не знаю. У нас нет опросов общественного мнения¹⁶.

С тех пор прошло пятнадцать лет. И целая эпоха.

Многое из сахаровского меморандума, — прежде всего слово «конвергенция», — стало повседневностью международной политики и торговли. А правозащитников в СССР преследуют гораздо более жестоко, чем тогда.

Правозащитником стал и сам Сахаров. К этому привела логика размышлений о стране и мире.

¹⁶ Не было в 1983 году, теперь уже есть.

Он и из горьковской ссылки обращается к народам и правительству. Надежда быть услышанным уменьшается со временем, с новыми арестами, с каждым новым неотвеченным письмом. Но эта надежда все еще не исчезла совсем.

* * *

«Привет!», — говорит мне по-русски афганец единственное знакомое ему слово. И спрашивает:

— Вот вы из России, а вы не боитесь сидеть рядом с моим соотечественником?

Нет, я нисколько не боюсь этого милого, очень способного юноши. Оба, перебивая друг друга, говорят:

— В этой войне Россия не победит. Война станет десятилетней, тридцатилетней. Наш народ уйдет в горы,.. (Впрочем, здесь же, в Германии, встретила с иной точкой зрения. «Надо было ввести советские войска, чтобы прекратить столкновения племен», — говорит афганец, который живет на Западе восемь лет и вовсе не собирается возвращаться.)

А я думаю: «Боже мой, зачем моей родине победа в Афганистане?». В самом начале, весной восьмидесятого года, я видела, как в небольшой советский город привезли запаянные, оцинкованные гробы юношей, убитых в Афганистане. Во имя чего? Видела рыдающих матерей.

Потом услышала, что на Украине умерла старая женщина. Семья жила в Ленинграде, хотели там хоронить, надо было перевезти тело. Сын пошел в магазин

похоронных принадлежностей, чтобы купить специальный гроб.

— Вы что, газет не читаете? Все такие гробы отослали в Афганистан! — с неподдельным возмущением ответил заведующий.

А теперь, говорят, перестали отсылать гробы на родину.

Вижу, слышу, как здесь на Западе трудно отделить правительство, пославшее войска в Афганистан, от народа. Ведь приказ был отдан от имени народа и на том самом языке, на котором говорит народ. Людям другого мира отделить державу от народа в далекой и непонятной России не легче, наверное, чем было советским солдатам сороковых годов отделить немцев от нацистов в противостоящих окопах.

Как легко, как тянет большинство жить в черно-белом мире: «друг — враг», «свой — чужой», «русский — немец», «коммунист — антикоммунист», «израильтянин — палестинец»... Но на самом деле все сложнее. И, как ни трудно, надо стараться эти оттенки различать.

Пишу эти строки тогда, когда в Бонне проходит встреча руководителей НАТО (1982), на улицах триста пятьдесят тысяч демонстрантов. В Нью-Йорке — полмиллиона. Все клянутся миром, требуют мира, ведут переговоры о мире. А мостов между правительственными зданиями и улицей не видно.

Вглядываюсь в лица демонстрантов. Красивые, молодые; юноша целует с девушкой; загорелые, полуголые — жара. Для них это — еще и увеселительная

прогулка, приключение, пикник. Вижу плакаты. Есть и «Против вооружения Запада и Востока». Карикатуры на Рейгана, на Шмидта, на Брежнева.

Громко говорят, плохо слушают. На человека обрушивается слишком много звуков, речей, шумов; не отличить, что необходимо, а что можно и пропустить. И хочется крикнуть: «Милые, остановитесь! Задержитесь на мгновение, спросите хотя бы, почему на эту демонстрацию писателю-пацифисту из ГДР не разрешили выехать, а никто из вас не должен был просить разрешения у своего правительства, ни у норвежского, ни у итальянского...»

Всех нас может спасти только связь, общение, совместные поиски общей меры.

Защищаясь от наступающей стандартизации, люди замыкаются в свою *церковь*, в свою *партию*, в свою *нацию*, — хотят сбиться в стаю, отличающуюся от других. Поиски корней, возрождение национальных диалектов, старых ремесел, просто погружение в прошлое, чтобы понять, кто ты; ощутить настоящее — все это нормальное развитие. Если оно не сопровождается правами на превосходство: «мы лучше», «мы старше», «мы раньше вас приняли христианство», «мы одни имеем право на эти территории»...

Людам, замкнувшимся в своей скорлупе, легче воспринять других как иностранцев, как инородцев, как врагов. В чужого легче стрелять.

Когда просветители уверенно глядели в будущее без войн, без несправедливостей, страны были отделены

бесконечными, трудно преодолимыми расстояниями. О том, что происходило во Франции, даже в соседней Германии узнавали не сразу. Сегодня же о землетрясении, о государственных переворотах, об убийствах узнают одновременно сотни миллионов людей в ту же секунду, когда совершается событие.

Но я не убеждена в том, что из-за этого люди стали лучше, глубже, легче понимать друг друга.

А от того, услышим ли, поймем ли, зависит и судьба ныне живущих, и судьба тех, кто будет жить завтра.

Не раз на занятиях, слушая моих коллег из Третьего мира (нас, европейцев или полу-европейцев, и было-то всего четверо), вспоминала книгу Франца Фэннона «Проклятьем клейменные». В классной комнате со мной сидели даже не дети, — внуки тех, кто был клеймен проклятьем колонизации. Все страны, откуда приехали сюда студенты, страны освободившиеся. Во всяком случае, формально освободившиеся. А горе, бедность, сопутствующая зависть, а то и ненависть не уменьшились. Скорее возросли.

Война между Ираном и Ираком: «из-за нефти», «неправда, из-за пограничных территорий», «нет, нет, потому, что иракцы...» Следуют многочисленные обвинения. И в ответ — подобные же от иранца.

А когда начался непредставимый ужас в Ливане, то наша классная комната и впрямь превратилась в малое побоище. Модель мира, объятаго ненавистью. Уже никто никого не слушал, каждый, владея истиной, ему

(ей) представляющейся абсолютной, выкрикивал свою и только свою боль...

Да что мне говорить о незнакомом Ближнем Востоке, когда писатель, изгнанный из Чехословакии, предлагая писателю, изгнанному из России, переписку, на вопрос, на каком языке, не задумываясь ответил:

— Конечно, на немецком — эсперанто славян.

Про себя я шепчу: «Но язык же не виноват...».

* * *

Всюду нас сопровождает колокольный звон. В первой квартире в Германии мы жили между двумя церквями. Жизнь невольно подчинялась определенному ритму. Основной тон — печальный, подстать моему, душевному. Колокола разные, я научилась различать их «голоса». Мой мир стал более анонимно «озвученным», — несравненно меньше разговоров со своими.

Много, гораздо чаще, чем дома, слушаю музыку. Выпало редкое счастье, — концерт Менухина, — чудо доброго могущества, позволяющего еще и верить, и надеяться. В замечательной речи Менухин сказал:

«Нам нужна была бы Декларация наподобие американской, где провозглашались бы права человека на жизнь, на свободу и на стремление к недостижимому!»

Он играл Баха, а у меня начали подниматься стихи, сначала ахматовская строка:

— Полно мне леденеть от страха.

Лучше кликну «Чакону» Баха, — и вовсе не как иллюстрация, просто в тон дивной музыке звучали любимые стихи... Он и не родился в России, только бывал там с концертами. Его дом везде, его школа в Англии; мы услышали его в Бонне.

Великое искусство, музыка, в переводе не нуждается, а людей объединяет. Слушаю Мстислава Ростроповича: в Вашингтоне, в Дюссельдорфе, в Бонне. Дважды как дирижера, в Бонне — виолончель. С Москвы не слышала. Бах и Ростропович. Шквал аплодисментов, как везде и всегда.

«Консерваторские лица» — особая порода людей. По дороге в московскую консерваторию по улице Герцена я безошибочно узнавала: идут туда. У нас дома однажды встретились два незнакомых между собою человека, долго вглядывались — и оба вспомнили:

— Да ведь мы же постоянно встречались на концертах!

Особый орден. Международный. Так же, как неизменен тип музейного работника, влюбленного в свое дело. Как Гюнтер Махал, директор «фаустовского» музея в городке Книтлинген. Неизменны и влюбленные в книги библиотекари.

Бетховенский зал в Бонне. «Консерваторские лица». Какое счастье, что они могут слушать Ростроповича! Какое несчастье, что ни в московской, ни в ленинградской консерватории его уже слушать не могут.

Раздавая автографы, маэстро к землякам особенно, щедро нежен.

... Начало семидесятых годов. Ростропович едет с гастрольями по Волге. Оркестр на пароходе. Концерты — те же аплодисменты, те же дивные «консерваторские» лица.

На борт парохода поступает телеграмма: «Концерт в Саратове запрещен обкомом партии». Ростропович мгновенно находит решение и просит капитана: мимо Саратова — самый тихий ход.

На палубе начинается концерт. Набережная Волги. Высокий берег. Как они узнали? По тому же «беспроволочному» телеграфу, что и о похоронах Пастернака. Жители Саратова высыпали к реке. Летний вечер, свет и сумерки; великая, проплывающая медленно музыка, и тысячи людей. Их несравненно больше, чем мог бы вместить любой зал.

С каким восторгом рассказывали нам об этом поистине необыкновенном концерте саратовские друзья! Сейчас они могут слушать Ростроповича разве лишь по радио, в записях, но это не то же самое.

Цирка я не люблю, уже и с внуками не ходила. Зверей бывало жаль, а за глупо и пошло острящих клоунов было стыдно, — так осталось с далекого детства. И вот нечто совсем иное. Цирк «Ронкалли». Музыка, цвет, звук, движения, некое струение. Огромный голубой шар раскрывается, печальный клоун выдувает мыльные, разноцветные пузыри; они лопаются, не долетают до публики... И мы думаем, каждый о своем, вот и проходящее мгновение (не останавливается!), и любовь, и творчест-

во, и сама жизнь. Каждый о своем, но есть и магическая объединяющая сила подлинного искусства.

Именно таким представляю я себе Ганса Шнира, героя романа Белля «Глазами клоуна», печального, раненого, влюбленного, отвергнутого и обществом, и любимой женщиной...

* * *

Двери пусть открываются сами собой. Так легче.

В искренних заботах об опасностях конвейера для души смешно сейчас призывать человечество назад, к тому времени, когда все делалось руками. Хотя не случайно множатся выступления за охрану природной среды, разрушающейся едва ли не с космической скоростью. Люди стремятся отбросить издержки прогресса, а если нельзя отбросить одни издержки, то и сам научно-технический прогресс. Эти стремления рождают мощные общественные движения, как движение «зеленых» в Германии, ставшее и политической силой. Эти стремления пронизывает и частную жизнь. Многие люди едят только пищу, которая выращена без химических удобрений, продается в особых магазинах; употребляют только естественные, не химические лекарства, только биологическую косметику.

Я не за возвращение к «доавтоматному» столетию и не только потому, что это просто невозможно, но и потому, что все эти кнопки облегчают жизнь. Их надо про-

должать нажимать (разумеется, мирные). Но не в человеческой душе.

Однозначного решения тут нет. Есть необходимость это осознать, воспитывая человека с младенчества как единственного. Это дано безо всяких теорий чутким матерям.

Так же, как на самом деле единственна и неповторима душа у каждого, так и неповторим процесс восприятия и познания мира, чужого тем более.

Двери здесь открываются сами собой в аэропортах, в больницах, в магазинах. В духовном пространстве по-иному. Ни одна дверь от души к душе, от страны к стране не открывается сама собой. Только усилием. Болевым. И двусторонним. И я должна стремиться, напрягая волю и ум, войти в другой мир. А другой мир — предоставит ли он мне возможность дотронуться, увидеть, понять?

Нечего надеяться и в лучшем случае на скороспелые плоды. Только медленно, то есть в естественном ритме, выращенное может оказаться долговечным. Старательно учить знаки чужой жизни, как учишь слова чужого языка. Некоторые двери могут приоткрыться. А другие так и останутся закрытыми.

III

ДВЕРИ, КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ ЗАКРЫТЫМИ

Учусь различать в этом мире двери, которые открываются сами собой, двери, открывающиеся после долгих усилий, и двери, которые для меня остаются и, вероятно, останутся закрытыми.

Во всех квартирах и домах, где я побывала, на одну из комнат лишь указывают: «Здесь спальня». Если дом двухэтажный — спальня на втором этаже, подальше от входа.

Много лет наша спальня была и моим рабочим кабинетом. В последней нашей московской квартире гости садились на ту же тахту, на которой мы спали. И кормили их там же или на кухне.

Я ощущала с годами все острее, как необходимо, как не хватает мне помещения, пусть совсем маленького, но принадлежащего только мне.

Причудливы судьбы слов. Здесь в спальне действительно только спят. У нас — часто и живут. В комнате же под названием *Wohnzimmer*, т. е. буквально «та, где живут», обычно никто не живет, — она для приема гостей.

У нас в тех квартирах, где она есть, такая комната называется *гостиной*...

При многих домах здесь бывают огороженные садики, куда посторонний не вправе ни зайти, ни заглянуть. Порядочно устав после долгой прогулки по Гамбургу, мы так и не нашли скамейки на улице, где можно было бы просто отдохнуть.

У нас в городах почти у каждого дома перед подъездом есть скамейки. На них сидят пожилые женщины и мужчины, судачат:

— ...Откуда это у Ани новое платье?..

— ...Кто это направился к Нине именно тогда, когда мужа нет дома?..

— ...Почему же Петровы до сих пор не уймут своего сына; опять напился и скандалит?..

Тут же обсуждаются цены на продукты, международные новости, результаты футбольных матчей.

Московская скамейка — закрытый садик в Кельне. Мне кажется, что и так возникают (разумеется, не прямо) различия в поведении людей, в нравах, вероятно, и во внутренней жизни. Здесь чаще встретишь сдержанность, здесь меньше делятся с другими своими несчастьями, горестями, служебными и семейными разладами.

Наш знакомый приехал из другого города навестить своего отца, у которого случился инфаркт. О его состоянии ничего еще толком не знает.

— Как же так?

— А отец вообще не велел никому говорить об инфаркте. Это вредит бизнесу.

На вопрос «Как поживаете?» в Германии неизменно отвечают: «Превосходнейше!» Наш друг шутливо объясняет: «Когда отвечают «хорошо», то можно начать и тревожиться, что произошло что-то дурное».

Такие ответы могут диктоваться практическими соображениями. Если ты говоришь о том, как тебе худо, у тебя меньше шансов получить повышение по работе, найти лучшую квартиру, завербовать больше голосов на выборах. Но этот «оптимизм» не только расчетлив. Закрепленная многократными повторениями бодрость становится привычкой.

Смотрю на ловкие руки продавщицы в цветочном магазине. Все букеты словно на одно лицо. Здесь прекрасный культ цветов и почти всегда в дом приносят цветы. Но как мне подчас не хватает других цветов, не купленных, не красиво обернутых, а полевых; не искусного букета, а охапки. Так же, как порою не хватает непредвиденного, не запланированного, не укладываемого в этикет проявления чувства.

Побывав в гостях, принято на утро позвонить, поблагодарить: «Как у вас было прекрасно!» Случайные встречные говорят друг другу: «Приятного вам воскресенья!»

— Спасибо, и вам также!

— Желаю хорошо провести отпуск!

— Спасибо, и вам также!

Продавцы обращаются к покупателям, проводники в поездах — к пассажирам.

В Австрии, в Баварии, в некоторых южно-немецких городах здороваясь, говорят: «Грюс Готт!» («Да приветствует Бог!»). Говорят и атеисты, говорят и друзьям, и противникам. Впрочем, и в нашем «спасибо» живет имя Божье («спаси, Бог»), уже не осознаваемое говорящими.

Что стоит за этими общепринятыми речениями? Значит ли, что люди и действительно желают собеседнику того, что произносят?

Противоречие между внутренним состоянием и словами может быть и лицемерием, холодной светскостью. Однако, постепенно и с немалым внутренним сопротивлением, обнаруживаю в условностях, которыми не только опутана, но и скреплена здешняя повседневность, тот жесткий остов, который облегчает людям сосуществование.

Облегчает по-разному, в том числе и этим, столь раздражающим поначалу, повторяющимся автоматизмом, облегчает и самим фактом доброжелательного отстранения.

Воспитанное с юности желание, чтобы люди разных стран (да и одной страны) соединились, желание самой быть с ними не исчезло, соблазняет, продолжает — когда сталкиваюсь — радовать и теперь. Но чтобы это соединение не превратилось в насильственную совместность казармы, общежития, коммунальной квартиры (не говоря уже о концентрационном лагере!), необходим и трудно осваиваемый мною опыт отъединения. В частности, некое пространство, поле отъединения. Это всегда знали охотники, лесники, рыболовы, поэты, да и просто

люди, по натуре одинокие. А нужно это едва ли не всем. Ощутить свои и чужие границы. Не тут ли одна из разгадок долголетних счастливых браков и дружб? Уважение к духовной территории партнера. Сюда еще можно, а дальше хода нет!

В книге воспоминаний о советском писателе Михаиле Зощенко есть такой эпизод. Зощенко и ленинградский профессор-германист Владимир Адмони оказались попутчиками в купе поезда. Они промолчали всю дорогу. Прощаясь, Зощенко сказал: «Спасибо за то, что мы с вами так хорошо провели время».

Он не шутил. Он настолько устал от своей известности, от того, что на него наседали, в него «вторгались», как в общественное достояние, как в сегодняшних кинозвезд, — он благодарил за деликатность.

Умение молчать вдвоем — один из редких даров дружбы и любви, да и просто общения людей между собой. Неприкасаемость душевной территории, — какое же это бесценное право человека!

... Студент спрашивает меня:

— Какую из западных свобод вы цените больше всего?

— Свободу искать и находить себя в себе и пытаться следовать «знакам» своей судьбы. На что может уйти целая жизнь.

Эта свобода, это право и порождаемые ими обязанности ни в каких декларациях и законах не записаны, но они представляются мне главным из того, что необходимо человеку.

В чужих странах, как и в своей, в чужих душах, как и в своей, есть двери, в которые стучаться не надо.

* * *

Но есть множество дверей, которые необходимо было бы открыть, однако они остаются закрытыми и потому, что люди в них войти не пытаются, не зная, что за ними.

В октябре 1962 г. Анна Ахматова получила письмо из-за границы с просьбой прислать последнее издание «Поэмы без героя». Между тем, тогда эта поэма еще не была издана на родине поэта, а только за границей. Лидия Чуковская записала в дневник:

«...Доживем ли мы до такого времени, когда на Западе будут иметь хоть малое, хоть приблизительное представление о нашей стране, о судьбе наших людей и нашей литературы? Быть может, и мы так же мало знаем о них, как они о нас?»

За двадцать лет изменений не столь уж много. В Германии и в Швейцарии, во Франции и в США, везде есть блистательные знатоки русской истории, русской литературы. Что труднее, чем быть, скажем, выдающимся специалистом по литературе французской. Ведь у немецкого профессора, занимающегося французской литературой, и возникнуть не может та проблема, которая сплошь да рядом возникает у слависта: «если я *так* напишу, мне в следующий раз могут и не дать визу».

Лучшие из славистов принимают близкое участие в наших редких радостях, разделяют наши многочисленные беды.

Познакомилась в Москве с английским славистом. Джеффри Хоскинг приезжал часто, в первый раз он приехал в Москву еще студентом. В Кельне он год преподавал в университете. Я прочитала его работы о «деревенской прозе», о книгах Александра Зиновьева, Юрия Трифонова, о националистическом течении, так называемых руситах. Подивилась их глубине, тонкости, истинному пониманию. Джеффри говорил: «Вот уже пять лет, как погиб мой русский друг, Константин Богатырев, а я думаю о нем, советуюсь, спрашиваю, делюсь сомнениями, подчас спорю».

И я подчас спорю с ним. Вовсе не все его характеристики я разделяю. Но убеждена, что любая его оценка продиктована тем, что он сейчас думает, и никакие посторонние соображения здесь не примешиваются.

Он любит Россию и это прекрасно сочетается с любовью к Англии, с гордостью за все лучшее, что там есть.

Французский славист Жорж Нива заведует кафедрой в университете Женевы. Он создал там атмосферу истинного научного сотрудничества, доброжелательства, которая далеко не всегда бывает в академических учреждениях.

Книги же его о русской литературе — из самых глубоких и талантливых; особенно поразителен анализ языка. Как ни отлично владеет он русским, все же это

для него иностранный язык, а об особенностях языка Александра Солженицына ему удалось написать так тонко и проникновенно, как мне пока не пришлось прочитать у исследователя русского.

Нива живет нормальной жизнью западного интеллигента, часто путешествует, не знает лишений, ценит свободу, любит и умеет напряженно работать и весело отдыхать. Очень много читает.

Для него нет «туманной» России. Он знает русских людей и русские книги, неотделимые от европейской и мировой культуры. Он знает и пороки системы, знает человеческие слабости, и подлость, и святость. Моя родина для него, — не ад и не рай. Да, он профессионал высокого класса. Но он Россию еще и любит.

Хорошо, важно, что в разных странах открывают и публикуют все новые и новые документы по русской истории. Спасибо тем, кто издал собрания сочинений опальных писателей. На полках нашей московской квартиры стояли изданные на Западе сочинения Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, Клюева. Начаты собрания сочинений Вяч. Иванова, Цветаевой, Хлебникова, Булгакова, Замятина, Ходасевича. К качеству этих изданий есть претензии, но само их появление — неоценимо важно. Важно, в частности, и тем, что «подталкивает» издания советские.

Спасибо тем издателям, которые публикуют книги моих современников, — прежде всего Карлу и Эллендее Проффер, создавшим в Энн Арборе издательство «Ардис», без которого теперь уже и не представить себе

новой историю русской книги. Воскрешены тысячи забытых страниц нашего прошлого. Издано больше трехсот книг.

«Камень» Мандельштама, «Четки» Ахматовой — с каким трепетом, с какой тревожной нежностью мы сами и наши друзья брали в руки эти первые маленькие, тоненькие «репринты», осторожно листали страницы. Сами стихи мы к тому времени уже читали либо в самиздате, — тонкие страницы, папиросная бумага, чтобы машинка «взяла» больше экземпляров (неужели все они исчезли при многочисленных обысках или просто истерлись, зачитанные, и будущий историк их не обнаружит?!), либо в позднее появившихся, добротного прокомментированных томах «Библиотеки поэта».

Я не принадлежу к племени библиофилов, но прелесть первого издания ощущаю.

Хорошо, что есть био-библиографический словарь русских писателей. Его составил и опубликовал профессор Вольфганг Казак в Кельне. Интересен план Энциклопедии всемирной литературы (в Геттингене) с большим русским разделом, начатый издателем «Текст унд Критик» Хайнцем-Людвигом Арнольдом. Серьезно начинание профессора Витторио Страда «История русской литературы» в 4-х томах. Богаты альманахи славистики в Вене. В Германии издан однотомник стихотворений Анны Ахматовой, издан большой сборник «Современная русская поэзия» в издательстве «Пипер»; дед нынешнего владельца издавал книги Чехова.

Сделано много. Но необходимо сделать гораздо больше. За пределами России все еще не знают многих замечательных писателей.

Необходимо и гораздо более глубокое понимание тех сложных процессов, которые идут в советской литературе. Это нужно не только для «академической полноты», но и потому, что сегодня от верного понимания России во многом зависят судьбы людей на Западе.

Для многих русских писателей неоценимо важна еще и возможность издаваться. Между тем лишь по-французски (кроме русского) изданы «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской. Все еще только по-французски опубликован великий роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Все еще лежат, бродят в разных издательствах и недостаточно оценены книги Юрия Домбровского, Фазиля Искандера, Владимира Корнилова.

Да, я забочусь о тех, с кем так еще недавно была рядом. Но право же, забочусь и о западных читателях: ведь эти книги расскажут о России — и прошлой, и современной — не меньше, чем работы самых замечательных западных специалистов. Названные книги еще и обогатят здешний опыт, как неизменно обогащает опыт истинная литература. Ведь в человеческих душах есть такие тайники, куда добраться, «достучаться» можно только искусством.

* * *

В аудитории одного американского университета слушаю доклад. Докладчик прочитал множество книг,

знает множество фактов, несоизмеримо больше, чем я в данной области, — речь идет о Гражданской войне в России. Слушаю со все возрастающим раздражением. Позже я узнала, что не я одна так воспринимала доклад, и некоторые американские коллеги тоже. Почему же? Докладчик добросовестен и действительно знает предмет.

Вероятно, дело в том, что наша боль, беда, грязь, трагедия, — все это для ученого лишь возня неких странных существ, которых он и рассматривает с равнодушным вниманием в свой микроскоп, как естествоиспытатель, наблюдающий бактерий.

Явственен и подтекст: «Мы, нормальные западные люди, такого снести не могли бы, так жить не могли бы, а русские сами заслужили все то, что им на долю выпало...»

Знаю, что настоящие русские патриоты смотрели на родину трезво. Любя ее, обличали сурово ее грехи, ее пороки. И Чаадаев, и западник Герцен, и славянофил Киреевский. Но нелегко слушать внешне словно и похожее, и, разумеется, с соответствующими ссылками на сочинения русских, но высказанное свысока, категорически. И тут же возражаю себе: почему я (внутренне) требую от других непременно разделять наш опыт? Хорошо, что есть в мире относительно нормальные страны, где люди могут спокойно жить и радоваться, заниматься своей профессией, играть на скрипке, возделывать свои сады, сколько я их видела, милых, ухоженных домиков с садиками! Подчас вспоминала слова Стефана Цвейга: у Диккенса романы кончаются свадьбами и герои поселяются

в домике с садиком. Кому из героев Достоевского нужно все это? Да, различия между мирами возникли давно, и долго, страшно углублялись.

Суждение Цвейга вовсе не универсально. Моим соотечественникам тоже очень нужны дома с садами.

* * *

...В течение полугода смотрим по телевизору бурные дебаты в Бундестаге. Нет, это вовсе не «говорильня», как нас учили в школе и в университете много лет подряд.

В большинстве домов в Германии люди смотрят, слушают, взвешивают. Коль, Штраус, Фогель, Келли. Разные люди, разные программы. Сегодняшние зрители, завтрашние избиратели раздумывают, сопоставляют со своим опытом.

Да, нельзя не знать про закулисные интриги, про подкуп, просто про то, что все крупные политики — отнюдь не ангелы. В большой политике, кажется, нигде и никогда ангелов не было.

И все же человеку здесь предоставлена возможность, свидетельствующая об уважении к нему. Пусть не единственная, пусть не главная, — но возможность принимать участие в решении, как жить дальше твоей стране, и, стало быть, твоим детям.

Я не раз слышала дома и много раз читала в эмигрантской прессе: «России это не нужно. В России это невозможно».

Уверена, что нужно. Надеюсь, что возможно.

...Умер народный поэт. Во время похорон Владимира Высоцкого в августе 1980 г. произошло чудо: в олимпиадной, очищенной Москве, откуда выслали не только всех подозрительных по принадлежности к диссидентству, но и школьников, и студентов, — безо всяких официальных известий собралось пятьдесят тысяч человек. Их собрал тот же беспроволочный телеграф, что работал в Москве в день похорон Пастернака; тот же, что в Саратове, когда отменили концерт Ростроповича.

«Это была не толпа, это был народ».

Когда похороны, уже сильно задержанные рекой желяющих проститься, наконец начались, гроб вынесли из здания театра на Таганке, по Садовому Кольцу над головами поплыли цветы. Тот, кто сам не успел положить букет на гроб, передавал цветы впереди стоящим. Не было ни пьяных, ни хулиганских выходов, не было никаких столкновений. Милиция лишь наблюдала за этим стихийно организованным порядком. Да, есть множество иных, прямо противоположных обличей московских улиц. Порою печальных, порою и страшных. Но и этот облик — есть.

*Спасение в том, что сумели собраться на площадь,
Не собираем сброда, бегущим глазеть на Нерона,
А стройным собором собратьев, отринувших пошлость.
Народ невредим, если скорбь о певце всенародна.*

Белла Ахмадулина

Собратья избрали Высоцкого своим поэтом. Им оказалось необходимым выразить любовь и горе. И они это сделали. Это тоже были своеобразные выборы — высоко духовные.

Моим землякам нужны нормальные условия жизни, как и французам, и немцам, и англичанам. В том числе и возможности выбора, выборов.

Разумеется, в России, в соответствии с ее историей, с ее характером эти условия будут по-иному воплощаться в действительность. Что тоже естественно.

Не знаю — когда, не знаю — как, но и в России это возможно.

* * *

Не могу не признать право каждого научного работника заниматься русской историей, русской литературой просто как специальностью — обычный «филд» с восьми утра до пяти вечера.

И все же, как тянет меня к тем иностранцам, кого моя подруга называла «почетными русскими», к тем, кто, побывав у нас, испытал глубокое потрясение. Для кого пребывание в СССР означало переворот в их собственных жизнях, изменение привычной системы ценностей. Им бывало стыдно потом смотреть на свое изобилие. Им бывало скучно на приемах в чинных гостиных. Им не доставало некоего «московина», — они испытывали и ностальгию. Радостно общаюсь с ними здесь и снова убеждаюсь в том, как значителен был и для них наш опыт.

Бывает еще и страсть, — у молодых особенно, — к приключениям, к опасности. К жизни на краю, исполненной подчас риска и для иностранцев. Но есть и нечто гораздо более глубинное. Ведь если погрузишься даже только мыслью в русские беды, тогда прощайся с душевным комфортом. А это на Западе — одна из главных ценностей, в США особенно. Недаром Декларация Независимости — единственный в мире государственный документ, где два неотъемлемо данных человеку права — жизнь и свобода — дополнены и третьим: стремлением к счастью. Но и в Европе — тоже.

Есть и такая возможность: в СССР будешь разделять и горе. А вернешься — выключай опыт. Так, забывая, зачеркивая, поступают и некоторые эмигранты.

Что знает о Советском Союзе то большинство людей на Западе, которое никак с нами не связано? Что они знают, что хотят и чего не хотят знать? Ведь для большинства населения Германии время войны — это время даже уже не отцов, а дедов.

Радиопередача для школьников старших классов. Комментатор возмущен тем лживым образом России, который создается немецкими масс-медиа («коммунист с ножом в зубах», готовый напасть на Германию, сменился «коммунистом с атомной бомбой»). Комментатор говорит простодушно:

«Я не знаю ни одной книги, написанной их писателями, у меня нет о них никаких представлений; не знаю, что смотрят они по своему телевидению, как от-

носятся к внутренней политике своего правительства...
Ничего я о них не знаю...»

Честное признание. Однако, прежде чем приступить к работе, можно было бы и узнать кое-что. Хотя бы прочитать несколько переводов современных книг. И среди советских журналистов, пишущих о Германии, можно найти таких, кто не прочел ни одной книги немецких писателей. Впрочем, мне не довелось встретить русского интеллигента, который не читал ни одного романа Белля.

В январе 1982 г. я узнала о смерти русского писателя Варлама Шаламова. Услышала об этом среди здешних приятелей, давно любящих русскую культуру. Каждый из наших тогдашних собеседников по несколько лет прожил в СССР. Однако никто не знал даже имени Шаламова, хотя его «Колымские рассказы» (под названием «Пятьдесят восьмая статья») изданы по-немецки, по-французски, по-английски... Одна из самых трагических русских судеб. Шаламов провел семнадцать лет на колымских золотых приисках, не в первом, а в девятом кругу ГУЛаговского ада. После смерти Сталина, после реабилитации стихи Шаламова появились в самиздате, а потом вышло несколько сборников. Об издании колымских рассказов не могло быть и речи даже в самые либеральные времена. И автор, не без страха и сомнений, решился публиковать их за рубежом. А там его просто не заметили, не услышали.

Он пришел в отчаяние, проникся гневом и отвращением к Западу, проклял Запад и не только в частных

разговорах. Он опубликовал исступленную статью в «Литературной газете», где обличал тех писателей, кто печатался за границей, в том числе и Александра Солженицына. (Солженицын еще в 1964 году сказал мне о Шаламове: «Вот у кого вся правда о лагерях. Я-то написал *счастливый* день Ивана Денисовича».)

Шаламов прожил десять лет в доме для престарелых. Больной, сам порвавший почти со всеми друзьями, читателями, почитателями. Он не одолел мира после лагеря.

Но тюрьмы, лагеря, разрушительно надломив здоровье, психику, не могли сломить его могучего дарования.

Надеюсь, что и немецкие читатели попытаются прочитать Шаламова, хотя душе каждого, и русского читателя тоже, вместить столько ужасов неимоверно трудно.

Я огорчаюсь, что здесь не знают Шаламова. А сколько книг, близких моим немецким приятелям, не знаю я? Слышала, как трое «запойных» читателей обменивались впечатлениями, вспоминали свои любимые книги и с радостью, едва ли не со страстью, называли и немецких авторов, и старых японских, и старых китайских. Любимые книги — знак принадлежности к единой духовной родине. А для меня, к стыду моему, даже эти имена были неизвестны.

Не знала я Элиаса Канетти, награжденного Нобелевской премией за 1982 г. Не знала интереснейших книг Манеса Шпербера. Незнание взаимно.

У моих соотечественников есть оправдание, которого здесь нет: запреты. Не могут поехать. Не могут увидеть. Подчас не могут и прочитать.

До сих пор нет по-русски полного Джойсовского «Улисса», хотя талантливый переводчик Виктор Хинкис буквально положил жизнь на то, чтобы выполненный им перевод был опубликован.

Не издан ни один роман Владимира Набокова. Русским читателям не известен ни «Жестяной барабан», ни «Собачьи годы», ни «Дневник улитки», ни «Камбала» Гюнтера Грасса¹⁷.

Действие запретов не однозначно. Они вызывают и страстную тягу к запрещенному. К чему приводит вседозволенность, мне судить пока трудно.

Разумеется, и вполне доступным мои соотечественники пользуются далеко не все и далеко не всегда. Что и нормально.

Если бы процесс обмена мог совершаться как дыхание, в естественном ритме! Без политической сенсации, без коммерческих расчетов.

...Смотрю, как пароход на Рейне проходит шлюзы, вспоминаю Волгу: перед носом парохода пустое пространство заполняется водой, уровни сравниваются. Вот так бы и обмен духовными ценностями, обмен книгами...

В доме-музее Фрейда в Вене есть стеллаж — книги на иностранных языках. Показатели международной известности. На полке «Славянские языки» стоят четы-

¹⁷ В настоящее время все эти книги опубликованы в России.

ре томака, изданные в Лондоне по-русски в 1969 г. А где же советское собрание сочинений (1923–1927 гг.)? С той поры эти книги претерпели немало: их запрятали в так называемое «спецхранилище»; после смерти Сталина их «реабилитировали» вместе с сотнями тысяч бывших заключенных. Их возвратили читателям. В 1927 г. была опубликована капитальная работа о фрейдизме, написанная Михаилом Бахтиным.

Полвека спустя, в 1978 г., в Тбилиси прошел международный симпозиум «О бессознательном» с участием советских и зарубежных ученых. Три тома трудов симпозиума были изданы с краткими резюме на иностранных языках. Там всесторонне рассмотрены идеи Фрейда. Этим книг нет в музее.

На вопрос, почему нет, сотрудник музея ответил: «У нас бывает много американцев, но почти не бывают русские».

Подобным же образом продавец объясняет, почему на фотоаппарате «Поляроид» или на французском креме среди надписей на 6–8 языках нет русского. Таковы законы рынка, раз нет покупателей, зачем же переводить? Но музей все же не рынок. Фрейдизм в России — необходимая часть не только русской, но и европейской истории культуры. И в притяжении, и в отталкивании.

* * *

Двери в другой мир остаются закрытыми и для тех, кто уверен, будто уже достаточно знает, что за ними.

Полузнание бывает менее заметно, чем откровенное невежество. Поэтому оно более опасно, труднее преодолимо.

Когда принимаешься изучать незнакомый прежде предмет, новый язык, то поначалу радуешься, услышав понятное слово, его выхватываешь, «выклевываешь», пытаешься угадать, сконструировать остальное. Угадываешь, зная латинские корни, либо немецкие обрусевшие слова. Такя удивленно радовалась «ярмарке», «галстуку», «маляру», а прежде считала их исконно-русскими.

Но после преждевременной радости наступает остановка. Сомнения. И становится все труднее. Нет, ты решительно ничего не знаешь. Того, что понятно, ничтожно мало в океане непонятого. И как же легко, как соблазнительно задержаться на предшествующем этапе, когда кажется, что знаешь почти все, а то и все, что нужно.

«Прекрасные люди крестьяне, и прекрасные люди ученые. Вся беда от полуобразованности», — писал Монтень.

Именно среди полузнаек возникают и закрепляются клише: «все немцы педантичны», «все французы легкомысленны», «все иностранные слависты безграмотны», «все американцы бездуховны», «у всех русских — широкая славянская душа» и прочая и прочая...

Хуже всего — самодовольство. Если знать, или хотя бы подозревать, что ты чего то не знаешь, — тогда есть хоть надежда, что в будущем узнаешь.

Каждому преподавателю знаком тот тип ученика или студента, который приходит не для того, чтобы вос-

принимать новое, неизвестное ему, а чтобы щегольнуть своими знаниями. А заодно в чем-либо поймать, сконфужить лектора.

Встречаю некоторых земляков в Париже, в Нью-Йорке, в Мюнхене. По эмигрантскому стажу они старше. Слушаю их и удивляюсь: десятилетия словно и не прошло, и мы не в 1981–1982 гг. за границей, а в 1972–1973 гг. на улице Воровского в клубе писателей или во дворе писательских домов на Красноармейской. Неужели их новый опыт ничего, совсем ничего не изменил в той картине мира, которую некоторые построили еще дома?

Полузнание рождает самые нелепые ошибки. Вот уж не думала, что мне придется когда-либо хвалить цензуру; но по воле советских идеологических ведомств, калечивших и сегодня калечащих и книги и жизнь писателей, возникли отделы проверки при любом журнале, издательстве. Только на Западе я поняла, как важно, чтобы, обратившись к справочникам, проверялись бы факты, написание имен, географические названия, даты. Чтобы этой кропотливой, незаметной работой занимались; как это необходимо для культуры любого издания.

Вышла первая большая монография о Пастернаке. Известный американский славист, ее автор, среди прочего сообщает, что

«...Хрущев в 1957 году кричал на Эренбурга, Евтушенко и Зиновия Рождественского».

Пишу красным карандашом на полях (для кого?!):

«в 1957 г. Хрущев кричал на Маргариту Алигер. На Эренбурга он кричал в 1962 г. В 1963 г. на Евтушенко кричал не Хрущев, а Юрий Жуков и другие. Озадачил несуществующий «Зиновий Рождественский». Можно лишь предположить, что этот мифический образ возник так:

- 1) на Андрея Вознесенского Хрущев кричал;
- 2) Вознесенье – праздник и Рождество – праздник;
- 3) есть поэт Роберт Рождественский;
- 4) есть писатель Зиновий Паперный, исключенный из партии за сатиры на официальных литераторов.

Вот так и выражает себя полузнание, даже при наилучших намерениях автора, но при отсутствии собственной и редакционной проверки. «Мы еще живы!» — говорил в таких случаях мой московский друг.

«Гроб Эренбурга некому было вынести из Дома Литераторов», — заявляет ничтоже сумняшеся очередной автор-эмигрант, разоблачающий всех и вся. И Эренбурга среди десятков других. Но ведь нас еще много осталось, тех кто видел огромную очередь, растянувшуюся по Садовому Кольцу. Читатели пришли прощаться с Эренбургом. Одни помнили книги двадцатых годов, прежде всего «Хулио Хуренито». Другие (таких большинство) помнили войну. «Эренбурга не раскуривали», то есть из его статей не крутили самодельных сигарет на фронте, как из других газет; третьи ценили память. После долголетнего запрета строки Цветаевой и Мандельштама сотни

тысяч людей прочитали именно в мемуарах Эренбурга «Люди, годы, жизнь».

Можно как угодно относиться к жизни и творчеству Эренбурга и выражать это в печати. Но не надо создавать новой лжи взамен старой.

Действительно, был случай, когда из Дома Литераторов некому было вынести гроб — гроб критика Владимира Ермилова. Я сидела в соседней комнате, и к нам на собрание вошли с просьбой: «Мужчины, помогите. Некому вынести гроб».

Но ведь Эренбург и Ермилов — это разные люди, разные судьбы...

Полузнание — одно из неизбежных следствий полуфабрикатного мира. Огромное удобство для хозяйки: возможность за полчаса все купить, приготовить обед. Все начищенное, нарезанное, кидай в кастрюлю или на сковороду и готово! Прекрасна возможность без особого труда устроить комфортабельный быт и в палатке, и на байдарке.

Но и в массовом, иллюстрированном журнале и в телевизионной программе тоже все нарезано, начищено, разжевано; раскрой рот, все тебе туда положат.

После пяти месяцев жизни в Германии в городке Бад Мюнстерайфель к нам за столик подсаживается несколько человек.

— Мы вас где-то видели... Ах, конечно, по телевизору... Понятно, вы здесь родились, тут недавно отмечали ваш юбилей...

Я возмущенно леплю несколько фраз из едва доступных мне слов:

— Мой муж не молод, но ему еще нет 200 лет. Тут родился доктор Гааз.

Телекрошево — несколько обрывков вместе: Гааз, Копелев, 200 лет, Германия, немецкий доктор, Москва, русский литератор...

Одно из интервью — голландскому телевидению. Непосредственных связей с голландской культурой у нас не так уж много, но одну историю вспоминаем. 1955 г., Лев только вышел из тюрьмы. Из первых работ для Литературного музея (предложение Бонч-Бруевича) — перевод анонимной антииезуитской книги XVII века. Переводить с голландского было трудно, конечно, со словарями, но работу сдал, хотя ее и не опубликовали.

Корреспондент слушает без всякого интереса и повторяет:

— А что вы думаете о перспективах отношений Востока и Запада?

Вопрос в сотый раз и ответ в сотый раз. И сейчас мне продолжает казаться, что голландским телезрителям интереснее своеобразные русские судьбы, прихотливые пути истории культуры: вчерашний заключенный сидит в музее редкой книги, в Ленинской библиотеке, погруженный в страсти трехвековой давности, но весьма своевременные и сегодня — вера и разум, просвещение и церковь, стремление понять и стремление запретить понимание.

Москва, ранняя оттепель, перевод с голландского на русский, рассказ об этом четверть века спустя.

Или впрямь важнее любое двухцветное клише?

Нет, я не пополню многочисленные ряды обличителей телевидения и не только из-за бесполезности этого. И потому, что прекрасно делаются новости и существуют превосходные телепрограммы. Но что масс-медиа в известном смысле способствуют и массовому полужнанию, — это давно доказано.

Я не говорю про жесточайшую цензуру на советском телевидении, потому что это на поверхности. Я про телевидение, где «сверху» правительственных запретов нет вовсе. А жесткая шкала: что важно, а что неважно — существует. И эта особая шкала ценностей далеко не всегда соответствует истинной уже в силу того, что она массовая. Это я на Западе испытала и как зритель, и как случайный участник.

Впрочем, впервые с радио- и телеискажениями я столкнулась еще дома.

Многие диссиденты, начиная с 1968 г., становились известными. Их имена зазвучали в эфире, проникли и на полосы зарубежных газет.

Долгое время мы считали, что подобная гласность — важная форма защиты преследуемых. Зарубежные радиостанции многократно называли имена советских правозащитников, и это могло способствовать тому, что раньше срока открывались двери тюрем, лагерей, психушек. Их уже немало на Западе, освободившихся благодаря вмешательству мировой общественности.

В этом смысле современные диссиденты поставлены ходом истории в несравненно более благоприятные условия, чем их предшественники. Скажем, чем молодые оппозиционеры двадцатых годов, чем сотни тысяч вовсе не причастных к политической деятельности, сгинувшие бесследно на Архипелаге ГУЛаг.

Сейчас арест или обыск редко проходит незамеченным. Это бывает либо в глубокой провинции, либо когда сам потерпевший не хочет огласки.

Хотя действенность «паблисити» сегодня меньше, чем несколько лет тому назад, надеюсь, что она еще не окончательно исчезла. Иностранное радио у нас слушали миллионы людей. Слушали обо всем, но прислушивались, естественно, прежде всего к тому, что говорилось о Советском Союзе. Для многих советских граждан иностранное радио было единственным, кроме собственного опыта, источником правдивой информации. Я вместе со многими соотечественниками благодарна и «Би-Би-Си», и «Немецкой волне», и «Голосу Америки». Но мало сообщать факты.

Важно и то, как они интерпретируются. Объяснения вызывают часто вопросы и несогласия.

Ведь в СССР чаще всего возвращается та информация, которую московские корреспонденты передают в Вашингтон, в Париж, в Лондон, в Кельн. Комментируя, они думают не о советских радиослушателях, что естественно, а о своих земляках, для которых они и работают. О людях, воспитанных, как и они сами, в интеллектуально-политической атмосфере, крайне далекой от нашей.

Я говорю лишь о журналистах честных и равнодушных. Для Москвы это последнее качество становится едва ли не профессиональной необходимостью.

В 1978 г. Андрей Сахаров с женой и ее сыном поехали в Мордовию. Они просили свидания с Эдуардом Кузнецовым.

Вскоре после того, как Сахаров приехал в Потьму, к нам пришли два зарубежных корреспондента. И я с порога спросила:

— Почему об этой поездке так мало, так скудно передают? Неужели вы не понимаете, что это означает для тысяч заключенных, — академик Сахаров близко около них?...

Только накануне я пыталась объяснить подруге, что иностранные корреспонденты в Москве не имеют, как правило, прямого отношения к передачам «Би-Би-Си» или «Немецкой волны» или «Голоса Америки». Но в этот момент пришедшие олицетворяют для меня именно тот самый мифологический нерасчленимый Запад.

Гости сухо отвечают:

Сахаров — уже не «ньюз», не «стори».

От возмущения не могу вымолвить ни слова.

С тех пор я ближе столкнулась с некоторыми руководителями, деятелями той сверхдержавы, которая называется масс-медиа. У них свои представления о том, что такое новость, что хотят в первую очередь прочитать подписчики газет, услышать радиослушатели, увидеть телезрители.

Сахаров снова стал «ньюз» осенью 1981 г., во время голодовки, когда ему буквально грозила гибель..

...Несколько человек собралось после шести вечера в одной комнате. Восемнадцать двадцать:

«Говорит „Немецкая волна“ из Кельна! Говорит „Немецкая волна“ из Кельна!»

Как давно я не слышала призывной этой фразы, а интонация звучит во мне и сегодня.

«Спидола» трещит, кто-то самый упрямый без устали сдвигает рычажок на миллиметр вправо, на миллиметр влево.. Спорят:

— Лучше всего на 31...

— Нет, надо пробовать и на 25...

Иной раз кажется, что западное вещание на СССР *заражается* болезнями самих советских масс-медиа, прежде всего монологизмом. Дискуссии — неотъемлемая часть интеллектуальной жизни Запада. Однако подлинные радио-дискуссии чрезвычайно редки на немецком, и американском, и английском радиовещании.

А ведь дискуссия, наверное, один из самых действенных, прямых способов передачи демократического опыта. Слушатель воспринимает разные, противоречивые точки зрения по одному и тому же вопросу. Он выбирает сознательно или бессознательно более близкую себе, формулирует, присоединяясь или отталкиваясь, вырабатывает свою собственную.

Всерединешестидесятигуборщицавписательском Доме творчества в Переделкино могла сказать:

— Я вашу Би-Би-Си поставила на шкаф...

Эти патриархальные времена прошли.

Сейчас слушание иностранного радио в СССР может быть и опасным.

Помехи усилились, прорваться в широкий мир сквозь треск глушилок все труднее. «Живу в сурдокамере», — пишет мне друг.

Мне очень хочется, чтобы передачи не разочаровывали москвичей, слушающих их с такими трудами.

* * *

Все чаще мне приходится отвечать на вопрос: что изменилось в СССР за последние годы? Стало лучше или хуже?

Поверхностный ответ ясен: зажим усиливается, становится все хуже и хуже. И это правда. Людей все больше арестовывают, все жестче судят инакомыслящих. Но в то же время самиздатских журналов (часто существующих недолгий срок по обстоятельствам, от редакторов не зависящим) все больше и больше.

...Сентябрьским днем 1974 г. я шла по дорожкам Измайловского парка на выставку московских художников, разрешенную на несколько часов. Спрашивать, где находится выставка, не пришлось: впереди и сзади, стайками и поодиночке шли люди, и по их лицам было очевидно — они направляются туда же, куда и я.

На большой лесной поляне натянута веревка, на нее висят полотна, словно причудливые сушеные часы Саль-

вадора Дали. Представлены едва ли не все направления современного изобразительного искусства: от реализма до поп-арта. Вокруг каждого художника — кучки зрителей. Спрашивают, а то и допрашивают с пристрастием. Спорят — до крика — с художником и между собой. И радуются.

Праздник. Не скажу — праздник искусства. Для меня и для многих, скорее, праздник свободы. Та полуфантастическая атмосфера свободного самовыражения и свободных споров, которая благоприятствует рождению высокого искусства, но отнюдь не обязательно рождает его.

Люди вели себя так, словно вчерашнего дня и не было. Слово две недели тому назад ошалевшие дружинники и не топтали ногами, не жгли, не рвали на куски картины, словно не разгоняли художников бульдозерами, не гоготали над чудаком-корреспондентом английской газеты, который, взобравшись на капот трактора, тщетно зывал:

— Как вам не стыдно! Ленин вас бы осудил!

На него недоуменно оглядывались и сами художники.

Словно всего этого не было вчера и не будет завтра. Есть сегодняшняя встреча, художник и зритель лицом к лицу.

Брешь была пробита. С тех пор ежегодно, а то и чаще в Москве и в Ленинграде устраиваются выставки «неофициального искусства».

Пять лет спустя, в 1979 г., писатели и поэты выпустили альманах «Метрополь». В предисловии сказано:

«Мечта бездомного — крыша над головой... Авторы „Метрополя“ независимые (друг от друга) литераторы. Единственное, что полностью объединяет их под крышей, это сознание того, что только сам автор полностью отвечает за свое произведение; право на такую ответственность представляется нам священным. Не исключено, что упрочение этого сознания принесет пользу всей нашей культуре».

Участники альманаха, уже после того, как его запретили, собрались вместе с друзьями. На всех лицах можно было увидеть то же победное выражение обретенной свободы, вольности, ощущение свершенного, что и на выставке в Измайлово.

*Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке, —*

писал Булат Окуджава.

И двадцать три человека взялись за руки.

Читатели Запада могут спросить: а что здесь, собственно, напугало? Меньше всего — содержание. Почти никакой политики. Если не знать, что в СССР — все политика.

Романы, рассказы, стихи, подобные тем, что собраны в альманахе (за немногими исключениями), изредка встречаются и на страницах советских журналов. Большая часть их и представлялась сначала в журналы и была отвергнута по разным причинам.

Идеологические власти были возмущены самой попыткой, к тому же коллективной, обойтись без них, без цензуры. Их возмутило и напугало свободное содружество.

Стало ли в СССР лучше или хуже для возникновения истинного искусства?

После смерти Сталина начала обновляться жизнь страны, ее культура. Но и в самых смелых мечтах 1956 г. невозможно было представить, что в советском журнале будет опубликован такой роман как «И дольше века длится день» («Буранный полустанок») Чингиза Айтматова или «Прощание с Матерой» Валентина Распутина; что на экраны выйдут фильмы Андрея Тарковского или Отара Иоселиани; что на официальной выставке можно будет увидеть работы Владимира Вайсберга; что издадут «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова и стихи Мандельштама. Был непредставим ни дух, ни стиль этих произведений. Но тогда люди жили надеждами: завтра станет лучше настолько же, насколько сегодня лучше, чем было вчера.

Иллюзии развеялись. Надежд почти не осталось. Разве что на эту самую непредвиденность развития общества и особенно — искусства.

За прошедшие годы короткие оттепели сменялись долгими заморозками. Каждое новое наступление «бульдозеров» рождало ощущение: все, конец.

После суда над писателями Синявским и Даниэлем (1966), после ареста и высылки Александра Солженицына (1974) снова и снова я слышала:

— Ну, теперь уж никто не посмеет и головы под-
нять.

Пессимисты оказались неправы. И выставка в Из-
майлово, и «Метрополь», и журнал «Поиски», и другие
рывки к свободе продолжались.

В России, как и везде, немногие способны выдержать
особые формы одинокого противостояния всесильным
властям, потаенное творчество в условиях катакомбной
культуры. Для этого, кроме таланта, необходимо и бес-
страшие, стальная воля, вовсе не обязательно присущие
творческому человеку.

Между тем вести из России невеселые. Трещины
между вчерашними единомышленниками углубляются.
Одни становятся циниками, другие впадают в отчаяние,
третьи уходят в сектантские общины, четвертые уезжа-
ют на Запад.

Но и на ином вытоптанном поле зеленеют всходы.

Совсем еще недавно о произведениях композитора
Шнитке говорили едва ли не теми же словами, что Ста-
лин о Шостаковиче: «сумбур вместо музыки». А в январе
1981 года Вторая симфония Месса Шнитке исполнялась
в Москве, в зале Чайковского. В 1982 г. он концертировал
в Германии: праздник высокого искусства.

Редкие праздники сменяются унылыми, а то
и страшными буднями. По всем показателям, изме-
рению поддающимся, за последние годы стало хуже.
Надежда лишь на то, что измерению не поддается: на
выражение лиц, которые говорят о неутолимом и непо-
давленном стремлении к свободе.

Для прагматиков-скептиков — призрачная основа для надежд. Но ведь само искусство ткется из этих нереально-реальных материй...

* * *

О действенности иностранного радио я начала догадываться со времени той «бульдозерной выставки» 1974 г., о которой сообщили во многих странах. С тех пор из многих иностранных радиопередач мы узнавали, что в Москве или в Ленинграде состоялась однодневная выставка ранее запрещенного художника. Узнавали чаще всего в связи с тем, что выставка запрещалась, разгонялась милицией. (Но хоть полотна уже не уничтожали.)

Запрещена — значит, надо попытаться посмотреть, — часто решали слушатели. У советских людей долгие годы сознательно и подсознательно вырабатывалось ощущение, а с ним и убеждение: «запрещенное — значит, хорошее». Отнюдь не без оснований. Десятки лет запрещали Ахматову, Пастернака, Мандельштама, Булгакова, Платонова, Солженицына. Некоторые книги все еще запрещены.

Однако среди репрессированных в годы террора литераторов были и такие, кто писал плохо, и очень плохо, и посредственно. И среди художников, гонимых сегодня, талантливые мастера — в меньшинстве.

Полагать запрещенное непременно хорошим — значит создавать путаницу эстетических, а тем самым и этических критериев. (Так же, впрочем, как разрешен-

ность публикации в СССР вовсе не обязательно свидетельствует о конформизме автора, не свидетельствует о том, что перед читателем лже-литература, лже-история, лже-философия. Разрешенные книги, даже получившие официальное признание, — сегодня отнюдь не синоним лживого, дурного. Но это — иная тема.)

Ситуация сложная: то поле культуры, которое не вытоптать никаким бульдозерам, вне сферы и вне досягаемости иностранных корреспондентов в Москве. И поэтому оно неизвестно большинству людей на Западе, даже из числа тех, кто интересуется культурой в СССР.

Многие писатели, историки, которые продолжают публиковаться, часто уже не хотят сегодня видеть свои имена на страницах «Монд», «Цайт», «Нойе Цюрхер Цайтунг», «Нью-Йорк Таймс».

Кто, например, знает о том, что опубликованы впервые после 1917 г. «Жития святых» — «Памятники древней русской культуры»? Или избранные философские сочинения Н. Федорова? Или о том, что предпринимается издание «Истории государства российского» Николая Карамзина, тоже после революции не издававшегося?

А ведь подобные издания для духовной жизни неизмеримо важнее, чем иные скороспелые выставки...

Поэтому картина современной культуры в СССР в ее полноте, в ее целостности, в ее многосторонности часто все еще неизвестна на Западе.

Однако рядом с наглухо закрытыми дверями встречаются и полураскрытые и даже широко распахнутые.

В Йельском университете в 1981 г. был специальный семинар, посвященный русским мемуарам. Два десятка студентов в течение семестра изучали «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, воспоминания Надежды Мандельштам, «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской.

В 1964 г. я почти одновременно прочитала рукопись первой части «Крутого маршрута» и первую книгу воспоминаний Надежды Мандельштам.

С Евгенией Гинзбург мы подружались. И стали соседями. Каждую главу второй части ее книги она либо читала нам вслух, либо я читала сама у нее в маленькой кухне. В 1977 г. я шла за ее гробом.

«Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской — одна из самых важных и дорогих для меня книг. С 1966 года я читала полустранички по мере того, как они возникали из старых дневников.

В мае 1982 г. я смотрела в Париже спектакль «Сожженная тетрадь», сделанный по этой книге. 1938 год, Ахматова и Чуковская в тускло тяжелом быте, в тяжких мыслях и предчувствиях: Ахматова о судьбе сына, Чуковская — о судьбе мужа. Поминают тюремные очереди, в которых они попеременно стоят.

Ахматова пишет «Реквием». Произносит какую-либо обычную фразу «для них», передает листок, на котором новая строфа. Чуковская запоминает наизусть. Листок сжигают в пепельнице.

Чуковская читает Ахматовой свою повесть. В гебистских донесениях ее тогда и позже называли «документ о тридцать седьмом годе» — довольно точно.

И «Реквием» и «Софья Петровна» — оба произведения дожили до печатного станка, но не на родине, а за границей.

Книгу воспоминаний Надежды Мандельштам, изданную в США, мы привезли автору под новый 1970-й год.

И вот эти три книги, такие бесконечно разные, когда-то, в уже незапамятные времена, рукописные, стали в Йельском университете, по инициативе прекрасного преподавателя Риты Бракман, предметом изучения. Меня пригласили на этот семинар.

Студенты спрашивали, почему в интеллектуальной жизни России такую роль играли стихи? Только ли женщины пишут мемуары? Какой в этих книгах «угол отклонения» от правды факта, как соотносятся в них личные, то есть неизбежно субъективные восприятия и документальная точность? Вернее — доформулируем мы вместе — каким образом поэтический вымысел передает правду жизни?

Студенты расспрашивали о характерах авторов, об их пристрастиях, просили описать внешность каждой, рассказать побольше подробностей. И я вспоминала, вспоминала. Любознательность этих юношей и девушек бескорыстна, им надо было понять не только для того, чтобы получить хорошие отметки, а чтобы познать нечто важное, и не в России, а прежде всего каждому в самом себе. Ведь им решать — как жить дальше.

В многочисленных спорах в разных аудиториях, на разных уровнях говорим, повторяем, пытаемся доказы-

вать, показывать, что русская культура существует. Сегодня. В сложнейших условиях. Вопреки всему.

* * *

Просветители еще верили в неисчерпаемые силы личности. Мои сверстники унаследовали эту веру: человек может все. И сейчас меня иногда возвращает в молодость это ощущение безграничности. Возвращает то чудом искусства, то чудом любви, то чудом бескорыстного служения людям, то чудом польской Солидарности.

Но чудеса все же редки. А живем мы в бесчудесной повседневности. Нет, человек может не все. Ни в познании, ни в любви, ни в дружбе. Ни, — менее всего, — в переустройстве общества. Есть границы.

Стоим перед книжной витриной в Гамбурге. Чего там только нет! Можно прийти в отчаяние: «Мне уже никогда и доли этого не прочитать. Жизни не хватит!» А можно, порадовавшись за тех, кому еще много отпущено в жизни, для себя выбрать: вот без этой книги и впрямь не могу, а без этих придется обойтись...

В Москве сосредоточенности отчасти способствовала скудость информации. Здесь же — переизбыток всего, в том числе переизбыток благ духовных, благ истинных.

В мире есть не только нами еще не познанное, но и вообще непознаваемое. Лев Толстой писал:

«...Надо примириться с тайной, окружающей нас, признать непроницаемость ее и знать, где остановиться в постановке вопросов и в ответах на них.

Наука настоящая, т. е. то, что человеку нужно знать, есть только одна: как человеку как можно лучше прожить в этом мире тот короткий срок жизни, который определен ему Богом, судьбой, законами природы – как хотите».

Но я-то говорю о том, что вполне познаваемо. Более того: о том, что наступает на нас из книг, журналов, газет, что притягивает телевизионным экраном, дивными музеями, обрушивается водопадом звуков в концертах один другого прекраснее, преследует рекламными призывами. Но важно, мне кажется, вырабатывать и внутренний отпор количеству. «Столько я воспринять не могу». Стремление вместить все неизбежно ведет к скольжению по поверхности. И потому, что существует избирательность: тебе, с твоим духовным опытом, с устройством твоей души лучше от этого отказаться. Я давно делила книги (кроме всех прочих литературоведческих критериев) на «мои» и «не мои». И сейчас думаю: мне без избирательности не прожить.

Самоограничение требует выработки своего отношения к миру, и этого не заменит ни настройка на «Немецкую волну», — только на свою собственную, — ни на «Голос Америки», только прорыв к своему собственному; ни радиостанция «Свобода» — только рождение и воспитание внутренней свободы.

Двери в чужую страну могут остаться закрытыми еще и потому, что ты сама в них не постучишься.

После того, как мою статью «Двери открываются медленно» — начало этой книги — напечатали в газете «Цайт», некоторые читатели (я получила больше шестидесяти писем) восприняли ее так, будто я ратую за настежь распахнутые двери, которые оставила в моей России, «входи кто хочешь, когда хочешь!», и порицаю запертые, с которыми столкнулась на Западе.

Вероятно, я сама дала повод к таким толкованиям, поэтому сейчас подробнее говорю о необходимости и о плодотворности известной замкнутости, закрытости, ограниченности.

Страшный опыт тоталитаризма XX века властно требует: никаких запретов! Недопустима ни государственная, ни церковная, ни даже общественная цензура. В некоторых американских школах изъяли из библиотек в 1981–1982 гг. не только «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, но и «Приключения Гекльберри Финна» на основе демократической процедуры — единогласного решения родительских советов. Страшнее, пожалуй, именно это единогласие — книгу можно получить и в другой библиотеке.

Никакая цензура недопустима: ни жестко-тоталитарная, ни мягко-общественная. Но сам-то человек вправе наложить на себя некие запреты. Ограничить круг воспринимаемого.

Если попытаться самоограничиться, смириться с тем, что многие материки и страны не увидишь, многих книг не прочитаешь, со многими самыми замечательными людьми не познакомишься — может быть, то

пространство, в которое войдешь, его-то освоишь, поймешь глубоко...

И еще. Есть целые пласты духовного (и душевного) опыта, которые от названия либо искажаются, либо исчезают вовсе. Век тому назад Тютчев писал:

*Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, замутишь ключи.
Питайся ими и молчи.*

Выговаривание может ограничить опыт, лишая его многозначности.

Даже когда человек строит мосты не между мирами, разъединенными жестокой историей, а всего лишь между «я» и «не я», бывает, что именно слова мост разрушают.

Побыть с собой наедине, в тишине, попытаться понять себя — без этого никогда не поймешь другого. Тем более — не поймешь чужой мир.

* * *

Незнание, полужнание, самоограничение — чтобы немного узнать по-настоящему — все это грани одной и той же проблемы: могут ли люди с непохожим, и тем более противоположным опытом понять друг друга? Могут ли страны, где люди живут столь разنو,

проникнуться не враждебно–плакатно–односторонним, а сочувственно–глубоко–дифференцированным отношением друг к другу?

Можно ли передать опыт, всегда неповторимый? Передать сквозь время иным поколениям, сквозь пространство — иным краям? Или между поколениями и между странами герметически непроницаемые перегородки?

Польский писатель Тадеуш Конвицкий говорил:

«Я — та личность, которую не понимают собратья по человечеству, живущие на берегах Тибра, Сены, Гудсона. Мои фразы — более или менее важные — можно перевести точно, можно уловить смысл моих метафор, моих колеблющихся настроений. Но они (западные читатели — *P. O.*) не могут отождествить свои судьбы с моей, не могут ощутить бессмысленность моих смыслов. Им это покажется не реалистическим, чуждым, лишенным мотивировок и потому совершенно непонятым».

Сколько раз испытывала и я нечто подобное! И в серьезном и в мелочах.

Мы собираемся в Италию. Время пасхальное. Мы не знали, что надо заранее заказать отель и места в поезде. В туристских бюро уже все продано. Обращаемся за помощью. И нам звонит милая женщина:

— У меня для вас очень дурные новости.

(Сердце падает, что-то случилось в Москве! Не сообщая в этот момент, что о Москве она и знать ничего не может). Она продолжает:

— Во Флоренции уже нельзя получить комнату, все занято; только в Венеции...

Флоренция, Венеция — слова из книг, картин, из сказок...

А понятие «очень дурные новости» в переводе с немецкого на русский, с западного на советский означает: потеря любимой работы, тяжкая болезнь, предательство, измена, арест, смерть...

Неужели отсутствие отеля в некоем городе можно и впрямь считать «очень дурной новостью»?!

Разные шкалы ценностей. Пример далеко не единственный. В такие минуты кажется, что ничего не передать, ничего не перевести.

В одном из университетов Германии я рассказывала славистам о новых русских книгах.

В апреле 1982 г. была опубликована повесть Бориса Можаяева «Полтора квадратных метра». В квартире живут четыре семьи. Герой не может выйти утром из своей комнаты, потому что дверь плотно закрывает тяжелым телом мертвецки пьяный сосед. Для того, чтобы перенести свою дверь на тридцать сантиметров в общий коридор, герою приходится преодолевать трудности непередаваемые, испытать унижения, преследования.

Как же довести до слушателей эту повесть, смешную и горькую, и гневную? Спрашиваю:

Кто знает, что такое коммунальная квартира, кто в такой был?

Две руки из пятидесяти. Но ведь не представляя себе основы этой фабулы, нельзя понять и иных заложенных

в ней символов, и конкретно советских, и вполне общезначимых. Такого, например: как понять друг друга людям, живущим в одной стране, в одном городе, в одной квартире, воспитанным одной историей — и бесконечно далеким друг от друга...

Отчаяние невыразимости побеждается и талантом. Приведенные выше слова Конвицкого принадлежат замечательному писателю, у него множество доказательств того, что его понимали и люди, живущие не на Висле и не на Неве.

Понимают же Гомера, Данте, Шекспира в разных странах в иные эпохи. Понимают сегодня Грина и Белля, Сэлинджера и Камю, Булгакова и Солженицына читатели, выросшие в совершенно иных условиях, чем эти писатели.

Не могу согласиться с Конвицким. Думаю, что «собратья по человечеству», даже живущие на берегах Сены, Тибра, Гудсона, могут понять. Когда фраза «собратья по человечеству» перестанет быть метафорой.

Профессор университета в Австрии услышал стихи московского поэта Владимира Корнилова «Вечера на кухне»:

*Вечера на сахаровской кухне
Продолжались и среди зимы.
И надежды все еще не тухли,
И плечом к плечу сидели мы...*

...

*Все, кто был на сахаровской кухне,
Некогда, хотя бы на заре,*

*Все, кто в лагеря еще не заперт,
Все, кто в ссылках в полузаперти,
Все, кто учит мир с нью-йоркских кафедр
Или слепнет в БУРе у Перми.*

*Как слова в одно стихотворенье,
Все бесповоротно включены
В сахаровским названное время,
Лучшее в истории страны.*

И благополучный гражданин свободной страны сказал:

— А я завидую тем, кто сидел на сахаровской кухне. Знаю, что они платили высокую цену (ох, боюсь, не понимает он все же, сколь высокую!), но их жизнь была исполнена истинного смысла... Он сравнивает, и я сравниваю.

Нельзя позволить себе замыкаться в своих и только своих бедах. Надо попытаться услышать и чужое горе, и чужую боль.

Все то, что выражено понятиями International, Solidarnosc, Religere — едва ли не самое важное сегодня.

Хотя и нелегко искать, и еще труднее найти, обрести общую меру.

Между тем, в разных краях развиваются прямо противоположные тенденции: самоутвердиться, обо-

собраться. Возникают и усиливаются жестокие противоречия между басками и испанцами, ирландцами и англичанами, абхазами и грузинами.

Утверждение и восхваление тех своих особенностей, которые сопровождаются враждой к соседям, — опасно.

Так двери закрываются не только извне, но и изнутри.

Двери закрыты в тоталитарных государствах, где человек заперт границами, запретами, надзором. Двери закрываются и в Западной Европе, где можно без виз проехать несколько стран, где есть и Европейское Экономическое Сообщество и Европейский Парламент.

Наверное, и человеку, и нации нужно и то, и другое. Ощутить и отдельность, обособленность, и связанность с другими людьми, с другими народами.

Каждая нация, каждая личность неповторимы. Потому и нужна возможность обособиться: в своем народе, в своем прошлом, в себе. И нужны такие обстоятельства обособления, когда ни сам человек, ни окружающие не полагают это ни зазорным, ни тем более преступным.

Но каждая нация, каждая личность одновременно и часть человечества. Потому естественно и стремление противоположное: слиться с другими. И не только с людьми, с природой тоже. Осознать себя частью вселенной.

Кому это дано, кроме великих поэтов и великих ученых?

Узнаем, что в Москве зимой 1982 г. был прочитан цикл лекций «Кантианские вариации». На лекции, слож-

нейшие по мыслям, по языку, сбегались слушатели со всего города, как на необычайный концерт. Кант говорил о двух великих чудесах: звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас.

Мне лишь краткими мгновениями бывает дано ощутить связь со звездным небом. Разве что думаю: на эти звезды, на это солнце смотрят в Москве мои дочери, внуки, друзья...

А без нравственного закона не обойтись никому: ни человеку, ни человечеству. Иначе и впрямь конец всему и всем...

С юности я поверила в интернационализм. После десятилетий горьких разочарований я продолжаю верить, что у человечества больше общего, чем различий.

Понятие «интернациональный» обнаружилось здесь в реальности прилагательным к существительному «амнистия». Это замечательная организация. Сколько я здесь видела самоотверженных людей, спасающих тех, кто в спасении нуждается. Не зная их. Как было написано на стенах старого французского монастыря:

«Здесь не спрашивают, как твое имя, а только – какое у тебя горе».

В Бремене группа «Эмнести» получает письма из сибирской ссылки. Из Бремена туда идут письма, посылки, одежда, кофе, витамины; идет защита, любовь.

Группа в Бонне. На их собрании сидим мы, люди из России. Слушаем немцев, которые рассказывают о сво-

их подопечных: русском и марокканце. Председательствует Соня Берг, одна из старейших и активнейших деятельниц «Эмнести».

Еду в Кевлар. Маленькая группа «Эмнести» — школьники старших классов. В доме Ирены Клейн. Временами, как только предоставится возможность, она преподает русский язык. Кевларская группа опекает русского писателя-диссидента Анатолия Марченко, осужденного в шестой раз на десять лет лагерей и пять лет ссылки.

Ирена еще летом разговаривала по телефону с женой Марченко, правозащитницей Ларисой Богораз, посылая посылки. В сентябре 1982 г. посылка вернулась обратно.

Рассказываю им про Лару и Толю.

Собрались девушки и юноши. Они могли бы, как большинство их сверстников, сидеть в дискотеке, смотреть телевизор, кричать на стадионе, пить вино, целоваться. Конечно, все это есть в их жизнях. Но вот они собрались в теплый летний день; собрались, чтобы послушать про наши беды. Искать пути, как помочь людям, им неведомым. Я впервые решаюсь говорить по-немецки. Ирена помогает временами, когда я не нахожу слов.

* * *

В парижском журнале «Альтернативы» была опубликована статья, автор которой сопоставлял два важнейших общественных движения 1968 г.: студенческие мятежи в Париже, Нью-Йорке, Берлине и Пражскую весну. Эти два движения развивались не только обособленно

одно от другого, но и в известном противопоставлении. В этом один из узлов современной трагедии.

На Западе у меня обострилось ощущение — два конца обнаженных проводов. По стечению обстоятельств и взглядов я не могу отбросить, «выключить» ни один, ни другой.

Множество людей полагает, что в мире есть одно Зло — коммунизм. И, значит, каждый литератор, студент, политический деятель, который осмеливается замечать иные формы зла, исходящие от Запада, от другой сверхдержавы, каждый, кто хочет бороться против «своего зла», либо дурак, либо платный агент КГБ.

Молодым людям негде жить — в Западном Берлине, в Геттингене, в Нюрнберге. И беды своей бездомности им важнее, чем те беды, что за Берлинской стеной. Они захватывают большие дома, в которых никто не живет, и отстаивают захваты в драках с полицией.

Фред Богнэр, герой старого романа Белля «И не сказал ни единого слова...» заходит в дом, где комната для собаки больше, чем жильё его распадающейся семьи. Как мне хотелось поселить Богнэров в большом доме! Наверное, легче желать справедливости литературным героям, чем реальным людям.

Лето 1981 г. Университетские здания в Геттингене оклеены листовками:

«Ракеты НАТО направлены на тебя!»

«Да здравствует анархия!»

«Долой патриархат!»

Наклеивают новые листовки — Международного Общества прав человека — с биографиями Юрия Орлова, Татьяны Великановой, Анатолия Марченко. Наутро этих листовок нет. Горечь, боль, гнев — кто мог так поступить?!

Студенты объясняют:

— В этом Обществе одни реакционеры. Мы не хотим быть вместе с ними, не хотим фальшивых друзей...

Эти же самые студенты организовали сбор подписей против высылки Андрея Сахарова в Горький. Им не безразличны судьбы наших героев, наших мучеников. Но у них есть *свои* заботы, *своя* шкала ценностей, *свои* враги.

Мне пишет молодая участница пацифистского движения:

«...я начала читать (мою статью — *P.O.*) настроенная скептически, заранее зная про вас. Как часто нам тыкали вас в пример: „Вот что происходит с инакомыслящими в СССР...“ Их мужеством здесь восхищаются, а нас, с нашей критикой нашей страны, нас считают детьми хаоса, нас не хотят принимать... А почему, собственно, существование ГДР, Советского Союза, Архипелага ГУЛАг, Солженицына — почему существование всего этого дает кому-то право отвергать нас, когда мы критикуем нашу систему, нашу страну?..»

Серьезные вопросы. Она пишет это письмо с пляжа на Корсике. Как — не просто сообщить ей, — как сделать,

чтобы в ее душу и в души, сознание таких, как она, людей, принимающих ответственность за судьбы мира, проникло простое понимание: ее московскую сверстницу, участницу любой демонстрации, не одобренной заранее властями, могло ожидать исключение из университета, увольнение с работы, а то и психиатрическая больница и тюрьма. И уж она не могла бы уехать на приморские пляжи, да еще в другую страну.

Американский священник Даниель Берриген вместе с несколькими единомышленниками ворвался на военный склад, и они разбили символически ядерную боеголовку. Его должны судить (он уже несколько раз за протесты против войны во Вьетнаме, за свою антивоенную деятельность побывал в тюрьмах). Суд откладывался.

Я — долголетняя читательница и почитательница братьев Берриген. Зимой 1981 г. мы познакомились с Даниелем в США.

— Диссиденты всех стран должны бы объединиться! — сказал он тогда.

В июне 1982 г. я увидела в Тюбингене афишу: выступает Даниель Берриген.

Я рада, что он может ездить за границу. Но хотела бы, — и об этом мы говорили, — чтобы и он, и его друзья тоже сравнивали бы, знали бы, что в СССР никто не может ВОЙТИ на военный склад: они окружены и тайной, и проволокой, и вооруженными вахтерами. Но если бы вдруг нечто подобное их набегу и случилось, тот, кто осмелился бы посягнуть на такое вторжение, был бы жес-

токо осужден по самому грозному обвинению: измена родине, контрреволюционное восстание.

Даже близкие могли бы сказать, что тут надо лечить. Он что — сумасшедший?

Сравнивать надо, по-моему, не считаясь бедами, точнее, — бедами не кичась.

И российским диссидентам надо знать многое неизвестное или превратно понимаемое. Например, когда в ноябре-декабре 1981 г. мы все мучились голодовкой Сахарова (именно в эти дни мы и познакомились с Берригеном), в Турции было вынесено несколько *смертных* приговоров профсоюзникам.

Знать, сознавать ужас такой расправы надо не для того, чтобы в меньшей мере проникнуться болью за Сахарова, меньше за тех, кому помогал он. Наши боли мы не можем забыть, наша боль не слабеет. Знать надо, чтобы понимать: Россия в мире не одна. Знать, что у аргентинских матерей исчезли дети. Что в Южной Африке арестовывают священников. Что в тюрьмах Ирана пытаются.

По данным «Эмнести Интернейшнл» за 1981 г. в мире исчез миллион людей.

Здесь в Германии на многих углах юноши и девушки раздают листовки, прокламации, призывы. Прохожие иногда берут, чаще проходят мимо. Сообщение из Ирана: за раздачу листовок *отрубают руку вместе с листовкой*. С тех пор, как я об этом прочитала, видя протянутые мне листовки, не могу не вспомнить тех безвестных в Тегеране...

В той же газете тайно вывезенная из Ирана фотография виселицы. Так расправляется Хомейни со своими политическими противниками.

В апреле 1982 г. в Риме начался судебный процесс над террористами, членами «Красных бригад». Еще в Москве по радио слышала я про убийство Альдо Моро, его предсмертные мольбы «Помогите! Спасите!». Не помогли. Не спасли. В зале суда — члены его семьи.

Обвиняемые повинны в предумышленных убийствах. Среди их жертв и Альдо Моро; их вина доказана многомесячным следствием, да они и сами не отрицают ее, лишь находят преступлениям разные идеологические обоснования. В первый день процесса все подсудимые потребовали вернуть им изъятые у них пишущие машинки.

В том же номере газеты сообщения из СССР. Новые обыски, в один день — пятьдесят. Такого после смерти Сталина еще не было. Новые аресты,

Среди арестованных Глеб Павловский. Историк по образованию, он отказался преподавать историю в школе: «не хочу лгать». Пытался выключиться из общества. Искал, подобно многим его сверстникам на Западе, альтернативные пути; зарабатывал как истопник, лесник, рабочий в домоуправлении, грузчик. Вместе с единомышленниками начал выпускать самиздатский журнал «Поиски». С 1978 по 1980 гг. вышло восемь номеров. Члены редколлегии ставили свои имена на обложке, они принципиально отрицали любые формы подполья. В редакционной декларации сказано:

«...к участию в наших „Поисках“ мы приглашаем всех, кто за взаимопонимание,.. к которому не пробиться иначе, как совместной работой мысли, не ограничивающейся одной-единственной позицией, заведомым углом зрения, единственно возможным способом ставить вопросы и добиваться ответов... не может быть ни свободен, ни уверен в своем будущем народ, притязающий собой одним, своими успехами ли, глубиной ли своего отчаяния – определять всесветное будущее...».

В журнале спрашивали и отвечали, писали о русской и мировой истории, о том, что происходит сегодня везде, но прежде всего — в России. Глеб Павловский размышлял о новой конституции СССР (1977), об общественно-политических проблемах, о новом почвенничестве. Человек ищущей, талантливой мысли, он не признавал никаких авторитетов, ко всем вопросам должен был пробиться сам, путями только ему одному свойственными.

После третьего номера начались обыски, а затем и аресты. Арестовали Валерия Абрамкина, Юрия Гримма. У Глеба пишущие машинки отбирали четыре раза. И все его рукописи, и все книги, изданные за границей, в том числе сборники стихов.

Он мог избежать тюрьмы. В прокуратуре ему грозили; когда некоторые друзья уже сидели в тюрьмах, ему предлагали эмигрировать. И мы говорили:

— Глеб, уезжайте. От того, что здесь одним зеком станет больше, никому пользы не будет.

Мне было за него страшно. Он решительно отказался.
— Мое место здесь.

Апрельским днем 1982 г. в Италии я узнала, что одним зеком в России стало больше. Он, как, впрочем, все, известные мне российские диссиденты, никого не убивал. Его позиция, как и позиция его единомышленников: радикальные реформы, диалог с властью, ненасильственное сопротивление.

Пасха в Риме. Накануне мы были в Ватиканском музее. Чтобы воспринять «Стансы» Рафаэля, ходишь, задрыв голову к потолку, идешь-идешь, и конца залам нет. Здесь нужна молодость, силы, много времени. У меня ничего этого нет.

А на вилле Боргезе три полотна Рафаэля: «Молодая женщина», «Мужской портрет», «Погребение Христа». Стою долго у этих полотен, стою у скульптур, прикрываю глаза, стараюсь удержать в памяти, в душе, стараюсь попытаться хоть свою радость передать родным, друзьям в Москву. В смеси языков, которая царит в музеях Италии, русского не слышу...

Картинам Рафаэля более четырехсот лет, и они необходимы сегодня не менее, чем итальянцам и французам, и немцам, и русским — всем. Всякое великое искусство связывает людей. Связывает и религия — латинское religere, здесь рожденное, и означает связь.

Выхожу в сад виллы Боргезе, сижу на скамейке, читаю газеты.

И в итальянском раю спрессованно, словно в специально задуманном сюжете, в одной и той же точке вре-

мени и пространства — пасха в Риме, вилла Боргезе, зеленая трава, деревья в цвету: все оттенки лилового, — и мучающие те же вопросы.

И серые газетные листы. Есть ли общая мера?

Суд над итальянскими террористами, арест Глеба Павловского.

На той же самой скамейке читаю книгу Симоны Бовуар «Обряд прощания». Последние десять лет жизни Жана Поля Сартра, борьба с болезнью, слепота, умирание, смерть. Бовуар рассказывает, как в 1974 г. Сартр добился свидания в тюрьме с немецким террористом Баадером.

Ему необходимо это было как писателю, его всегда привлекали экстремальные ситуации, ему было важно понять особенности такой личности, как Баадер, да еще в условиях одиночной камеры. Но Сартру это было необходимо и для того, чтобы заявить миру о своей солидарности с узником, с тем, кого преследует едва ли не все общество.

Читаю о Сартре, думаю о своих.

Все, что ждет теперь новых узников, я представляю с тоскливой уверенностью: суд, открытый только по названию, из близких пустят жен. И уже нет того утешения, того источника силы, что был у С. Ковалева и Ю. Орлова, у А. Щаранского и М. Джемилева, — у закрытых дверей суда стоит академик Сахаров. Теперь сам Сахаров заперти, в Горьком, ни к какому суду подойти не может. А другие академики, писатели и прежде к судам не ходили, не пойдут тем более теперь. Ни к кому не имею

права предъявлять никаких претензий, я тоже не ходила к судам. Прежде всего потому, что боялась.

...В римской зале, где начался процесс над итальянскими террористами, обвиняемые, — хоть их и привезли в клетках, в наручниках, — весьма свободно переговариваются, шутят друг с другом, с адвокатами, с публикой; в зале полно их родных, друзей. Дом окружен огромной толпой. Там сотни полицейских не только потому, что возможны новые выстрелы, новые покушения на жизни, но и чтобы ограничивать напор желающих войти в зал, поддерживать порядок.

Как мало деятелей иностранной культуры и науки (уж и не говорю о том, как мало русских) просили разрешения навестить Андрея Сахарова...

Отчаянно сопротивляюсь тому, чтобы «глубиной своего отчаяния определять всесветное будущее». Но не могу не сравнивать итальянских террористов, немецкого террориста Баадера, русского *не* террориста Павловского, так причудливо совместившихся в моей душе на зеленой скамейке виллы Боргезе. Не могу не сравнивать отношения к ним — и здесь, и там. Хочу я, разумеется, не того, чтобы другим стало хуже. Пусть им отдадут их пишущие машинки, пусть к ним ходят друзья и родные, писатели и академики. Я только хочу рассказать, что и у меня на родине людям, находящимся в тюрьмах, это нужно. Понимание, сочувствие, милосердие. Хочу, чтобы нашим стало хоть чуточку легче. А становится им все более тяжело.

Летом 1982 г. в Москве арестовали Зою Крахмальникову. Одна из первых красавиц пятидесятых годов. У меня красота не «стирается» из памяти, мне и сейчас Зоя кажется очень красивой.

В последний раз я ее видела в январе 1980 г., когда мы подписывали письмо протеста против высылки в Горький Андрея Сахарова, они с мужем решали, кто из них подпишет. Подписал он. Она уже несколько лет готовила и редактировала сборники «Надежда. Христианское чтение». Вышло в самиздате десять, шесть на Западе.

Познакомилась я с Зоей четверть века тому назад, встречались мы редко. Она окончила Литературный институт, работала в «Литературной газете», в Союзе писателей, печатала статьи и книги, переводила. Была необыкновенно доброй и щедрой. Когда я узнала, что Зоя, как и многие другие, пришла к церкви, мне это показалось естественным для нее: она и прежде (как бы она сама сегодня ни осуждала свою молодость) жила по-христиански — всем со всеми делилась.

...Пятьдесят седьмой год. Сидим на нескончаемой дискуссии. Ждем итальянского фильма. Зоя смотрит на часы.

— Ой, опаздываю, я должна бежать!

— Что ты? Ведь мы пришли сюда ради фильма!

— Понимаешь, у моей подруги свидание. А надеть ей нечего, у нее нет ни одного нарядного платья. Я обещала, что дам ей свое; у меня тоже только одно, вот это, что на

мне (каким неприглядным показалось бы мне сегодня это синее платье с белыми горошками на фоне здешних витрин, модниц-европеянок, да и мои соотечественницы теперь, слава Богу, уже гораздо лучше одеты...). Мне и самой уходить не хочется, но ведь обещала, что прибегу, переоденусь и отдам ей платье. Сегодня, быть может, ее судьба решается; надо, чтобы она получше выглядела...

Зоя в тюрьме.

Как ей помочь? Как мало людей по-настоящему услышат то, что я пишу здесь о ней!..

«Мы со своими бедами поднадоели миру», — это говорили еще в Москве.

* * *

У одного из моих любимейших писателей, у великого космополита Александра Герцена нахожу к своему полному изумлению строки, которые, казалось, противостоят всей его деятельности:

«Мы *чужие* в этом мире, мы, собственно, живем не здесь, а дома. Было время, когда мы думали, что наше призвание состояло, между прочим, в том, чтобы *свидетельствовать* перед Западом о возникающем русском мире. Это время прошло... Мы остаемся вне России только потому, что там свободное слово невозможно, а мы веруем в необходимость его высказать...».

Знаю, что эти строки продиктованы отчаянием. Кто же, да еще в эмиграции, прожил без таких минут!.. Придется проходить и через это... Я могла бы привести

из сочинений того же Герцена множество высказываний противоположных, не больше ли всех остальных именно он сделал для связи России и Европы?

Прежде, чем вырвались у него процитированные выше строки (1864 г.), да и после того Герцен многократно свидетельствовал перед Россией о Западе, перед Западом — о России.

И все те, кто оказался в эмиграции после него, все равно, хотели они того или нет, — свидетельствовали. Каждый эмигрант — кто в печати, кто с трибуны, кто пусть просто поведением — рассказывает, из какой страны он приехал, как вживается в другую. Много недоразумений возникает, когда по одному, двум, десяти эмигрантам судят о целых странах. И мои заметки предельно субъективны. Это я *так и то и тех* увидела, а живущий рядом увидит другое.

С тех пор, как Нина Берберова, одна из писательниц-эмигранток первой послереволюционной волны, сказала: «Мы не в изгнании, мы в послании», прошло почти шесть десятилетий. Ощущать себя в послании — обоснованно ли, нет ли — это дело самооценки.

Я в изгнании. С внутренним обязательством свидетельствовать, рассказывать о моей родине, искать дистрибуции, связывающие разделенные миры.

Разногласия свидетельств страшнейшая. От цифр и фактов до обобщений. Иной раз с негодованием отбрасываю очередной номер эмигрантского журнала или газеты (читаю выборочно) с мыслью: «Это не о той стра-

не, где я жила». Не сомневаюсь, что именно так говорят и обо мне. Каждый из нас унес свою Россию, свой круг близких и дальних, свое представление о стране и людях. У людей — и у моих бывших (как и теперешних) сограждан — разная оптика.

Один здешний дружественный читатель моих работ сказал мне:

— Нам это понять трудно. Вероятно, вам теперь надо делать два варианта: один для России, другой для нас.

Фраза застряла болезненной занозой. И сомнением: а вдруг он прав? Может быть, эта задача — сделать так, чтобы поняли и там, и тут — мне не под силу? Может быть, она и вообще невыполнима?

Но, спорю я с ним и с собой, ведь если нет общей меры для оценки поступков, мыслей, чувств человека, в каком бы пункте земного шара он ни жил, тогда вообще нет надежды ни услышать, ни понять друг друга.

Если же общая точка отсчета при всех различиях существует, если это не относительная величина (как «лето» для моего сокурсника из Малайзии), если мы все действительно принадлежим к роду человеческому, значит, перевести, передать опыт можно.

«Мы не врачи, мы — боль», — сказал о литераторах в прошлом веке Александр Герцен. Никогда я не ощущала острее, чем сегодня, мудрость и общезначимость этих слов.

Та боль, которую я могу передать, и то, как я могу передать ее, существует лишь в одном варианте.

Как лечить безумный мир, я не знаю. Продолжаю пытаться открывать хотя бы некоторые двери, уже печально зная, что многие так и останутся закрытыми.

Разгадаю ли я когда-нибудь знаки этой таинственной страны, из которой пришли в мое детство Ганс и Гретель, страны, где мне, возможно, придется жить до могилы?

Сумею ли я рассказать здешним людям о другой таинственной, великой стране, которая навсегда останется моей родиной?

1984 г.

СОДЕРЖАНИЕ

«Мы ищем пути друг к другу». <i>Мария Орлова</i>	3
Введение.....	15
I. Двери открываются не так	17
II. Открываются ли двери сами собой?	62
III. Двери, которые остаются закрытыми	119

Книга «Двері відкриваються повільно» написана жінкою, позбавленою радянського громадянства. У 1981 році це означало, що вона вже ніколи не зможе обійняти дітей і онуків, піти на могилу батьків, зустрітися з друзями, пройти по рідному місту.

Перших німців, які зустрілися їй у житті, звали Ганс і Гретель. З казок братів Грімм. Це було в дитинстві, але тоді Раїса Орлова не знала, що вони німці, як не знала, що Сандрільона — французженка, а сестричка Оленка і братик Іванко — росіяни. Люди ділилися на поганих і хороших, розумних і дурних.

У Німеччині Раїса Орлова зрозуміла, які стіни забобонів, прірви незнання розділяють людей зі Сходу і Заходу.

«Прагну, вибираючись із страху перед чужим, із своїх печалей, брати участь у будівництві мостів через прірви. Хоч би цеглинку покласти в такий міст.

А не збудуємо, — можемо загинути разом; і вони — багаті й вільні, і ми — бідні й зціплені несвободою».

Чи вдалося автору книги покласти в такий міст свою цеглинку — вирішувати читачу.

Ця книга написана 30 років тому, але, здається, прірви незнання стали тільки глибше, а стіни забобонів — вище.

Літературно-художнє видання

ОРЛОВА-КОПЕЛЄВА

Раїса Давидівна

ДВЕРІ ВІДЧИНЯЮТЬСЯ ПОВІЛЬНО

(російською мовою)

ISBN 617-7266-27-2



Відповідальний за випуск *Є. Ю. Захаров*

Редактор *М. М. Орлова*

Коректори: *І. Б. Захарова, І. Ю. Рапп*

Комп'ютерна верстка *О. А. Мірошніченко*

Підписано до друку 30.06.2015
Формат 70×100 ¹/₃₂. Папір офсетний. Гарнітура PT Serif
Умов. друк. арк. 7,41. Облік.-вид. арк. 6,53
Наклад 1000 прим. Зам. № ПЛ-07/15

ГО «ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА»
61002, Харків, а/с 10430
<http://khp.org>
<http://library.khp.org>

ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ»
61002, Харків, вул. Дарвіна, 7, кв. 35
Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України
серія ДК № 4783 від 23.10.2014 р.



SWEDEN

Эта публикация печатается
при финансовой поддержке Правительства Швеции.
Взгляды и интерпретации, представленные в этом издании,
не обязательно отражают позицию
Правительства Швеции